

Р-  
п 53  
604688

И ВАН  
ПОЛЧЯНОВ

ГДЕ  
РОЖДАЮТСЯ  
ОБЛАКА



Иван ПОЛУЯНОВ



ГДЕ  
РОЖДАЮТСЯ  
ОБЛАКА

Рассказы

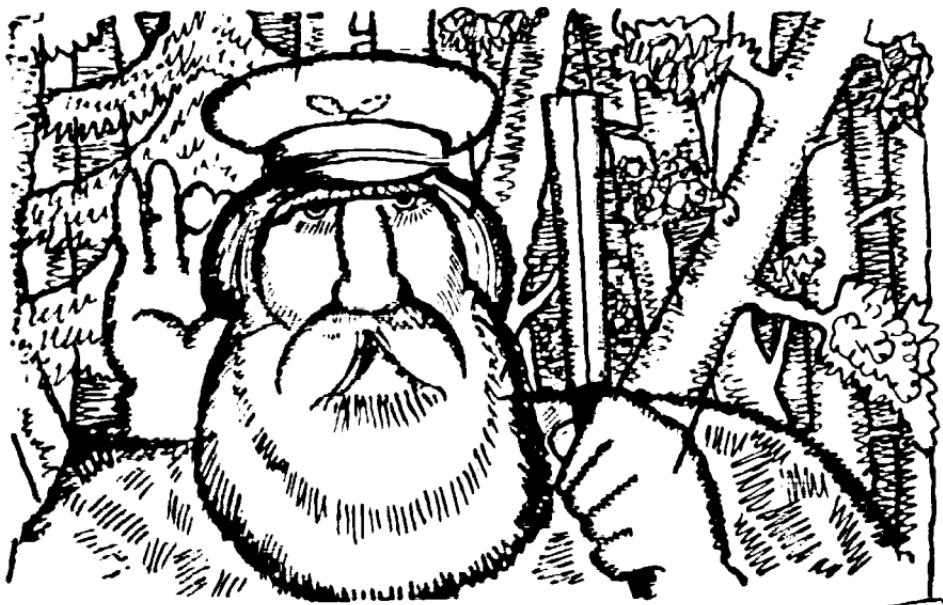
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1968

Григорьян перекат не отыщешь на карте...

Как надо жить, чтобы оставить по себе такую память, как хотя бы речной перекат, названный твоим именем? И вообще, какая она, земля наша? Земля, которая начинается от порога родного дома?

И. Полуянов — автор книг «Лесной теремок», «Дочь солдата», «Рога менурея» и других, вышедших в Архангельске, Вологде и Москве. В своей новой книге он, как и в предыдущих, делится своими познаниями «тайн» природы, рассказывает о жизни ребят, их мечтах и делах, повествует о родном ему Севере, где самые неприметные на первый взгляд уголки имеют свою прелесть и где наша сегодняшняя жизнь бурно преобразует родную глушь.

---



## ХОЗЯИН ОГНЕННОГО БОРА

Донимал на рассвете знобкий заморозок-утренник. Лужи покрывало ледяной насечкой, где-то гулко растрескалась дуплистая осина. Было в лесу замороженно пусто, голо, темно, пухлый иней рос на сучьях. При дыхании пар валил изо рта. Но и в потемках подняли возню птицы, ударили с болота журавль на протяжной ноте: «ку-урл... курл-ы-ы». Поразвиднело, стали различимы отдельные деревья, островки снега розово забелели, гуще запахло хвоей, почками — и солнце плеснуло, наконец, в чащу легкое свое золото.

Иней сразу затаял. Березки умывались: стоят размокрехоньки, закапало с них, сучья запросвещивали как стеклянные.

Подойди к суставчатой веточке, посмотри сквозь нее — увидишь мир в сияющем таинственном свете...

А вон поворот на тропу: можно и дальше идти просекой, так ближе, да не лишне бы нагрянуть к деду невзначай.

Дятел рассыпал гулкую дробь, как дозорный подал сигнал с высоченной башни — сухостойной, с облезлой корой осины. Чу! Пискнула мышка-соглядатай. Высунулась из норы, прошмыгнула у самых ног и скорей в кучу валежника.

Бил и бил дятел по суку, сыпал дробные удары: «др-р-р... др-р-р!».

Только крючконосые клести по-прежнему шелушили шишки, роняли их наземь в попыхах и перекликались звонко — свои меж своих.

И черную желну мало тронуло появление на тропе мальчишки в ватнике и сапогах-броднях. У него худенькое скучастое лицо в накрапе веснушек, мокрая прядь прилипла ко лбу, глаза серые в белесых ресницах — быстрые, с черными зрачками-дробинками. На спине мешок. Лямки оттянули плечи, руки висят, как плети. Желна, ныряя в просветах между деревьями, завопила: «Кай-кай!» Узнала-таки своего...

Степа, само собой, свой, — не ошиблась желна.

Не упомнить, сколько раз пешком он мерял путь-волок в дедовы угодья, в дедов заветный бор. Тянет его сюда, в глушь, — ничего с собой не поделать.

На водоразделе залег бор широкой грядой среди топей, хлябей болотных, гарей да лесосек. Болота, «рады» — низины, заглохшие в путанице кустарников, в ядовитом испарении багульника, заплесневелой воды, жидкой торфянистой грязи — дают начало двум рекам. Родились они в болоте, во мках-зыбунах, пеленали их осока да хвощи, сосны баюкали, тенями своими укачивали. Друг другу ровня обе речки. Но текут в разные стороны. Одна — к студеному морю, где льды, где сполохи северного сияния и в осклизлом лишайнике скалы; вторая — к пустыням, к розовым гусям — фламинго. Далеко-далеко обе текут. По пути принимают в себя ручьи, родники, такие же малые реки, как сами, имя в конце концов собственное теряют, вливвшись в другие реки, а все равно — и глоток да донесут воды отсюда, разбавить морскую соленую горечь...

Редкий бор, редкий!

И не всякий рискнет сюда проникнуть: в тайное-тайных, в истокам самым. Оступись с верткого бревнышка, что через мох зыбун брошен, угодишь по шею в вонючую трясину; сбейся с пути в чаще — заплутаешь, едва жив, со стеклянными глазами прибъешься к людям, недругу в бор дорогу закажешь.

Мхи, обугленные сосенки, заросли багульника по болотам. Пенье-коренье, бурелом, бездорожье в чаще... И так много-много верст, пока-то встанут за мхами, за еловыми пустынями сосны, вековые, матерые — ровно столица окрестного суземья!

Горят, полыхаем занимается сосны на восходе, на закате — будто огонь вырывается из густой зеленой щетины. Осенью, когда свинцово-серой делается в ненастную пасмурью кора сосен, кострами, пожаром низинным вспыхивают травы, листва рябинового и березового подлеска. А зимой зори... Ах, горят, полыхают зори над бором, багровые в морозной лиловой роздымы — жгут снега... до срока жгут!

Раньше народ и сюда селился. Кучились на буграх деревеньки, караулили пашни-кулиги.

Но разъехались люди. Спроси деда, он скажет: «На волость уехали». Что в суземье-то диком увидишь, кроме леса? Людей к людям тянет. «На волости» радио и электрический свет, кино через день да каждый день. Тракторами там пашут, комбайнами жнут.

А тут?

Э-эх! Погнали раз трактор, он увяз в суболотье, по частям разбирали, вытаскивая на сухое место.

Дед один из мужиков с насиженного гнезда не тронулся. Поступил в лесную охрану. На крыше избы выложил берестой знак, цифру «5» — ориентир для пилотов пожарной авиации, и зажил бобыль-бобылем.

Заросли в бор, к Северьяну Палычу, дороги. Гать через болото Долгое — мостик из бревнышек — иструхла, мхи ее засосали. Ездить некому, и ремонта дорогам нет.

Где избы стояли, лопухи там, крапива, бревна гнилые. По пожням, полоненным лютым лабазником, по полям в зарослях иван-чая и кислицы лоси пасутся...

До деда бор не имел имени. Бор и бор. На карте лесничества значился как дача такая-то, квартал номер такой. Дедко окрестил бор Огненным, себя иначе как хозяином и не зовет, — повадлив хорохориться, на красное словцо повадлив.

Пригибаясь в кустах, Степа скользнул к избе.

В окнах пусто. Пес Шумко голоса не подает...

Вот тебе и нагрянул врасплох! В избе-то нет никого!

Скворец выпевает, свищет, клов разинул — шире некуда. Дорожит ими дед, скворцами. Парочка всего и водится. Воробыи в прочих дуплянках. Собирается дедушка турнуть их,

никак не собирается. Скворцы — для радости, а воробы — знак, что крестьянский дух в избе не выветрило.

Чудит дедко... чудит!

Его за чудака и ведут. Ну-ка один в суземе, в дикости-то. Потому прозвище обидное у деда: Седун. Засел на место, от людей оторвался — иль не Седун?

Никого нет. Скворец на коньке избы обмирает, глаза под лоб — во как ему посвисты достаются! Поет, крылышками трепещется... Визгу-то, визгу от него!

Степа веником-голиком охлестал грязь с сапог, пошаркал подметками о камень у приступка крыльца. А поднял глаза — на, дедко стоит в дверях!

— Ты дома? — закричал Степа и отбросил голик.

— Жду. Как ручей на пожне загремел, разлился, с той поры и жду. Думаю, на каникулы распустят, не утерпишь, не-пременно навестиши.

В школе, где учился Степа, весенние каникулы приурочивали к разливу: в водополь ребятам трудно попадать на уроки.

— Чего по кустам-то отирался? — щурил Северьян Палыч черные на выкате глаза. Голос у него зычный, под стать ему, высокому, костистому старику. Латаные-перелатанные штаны заправлены в подшитые валенки. Сатиновая косоворотка распояской, по груди разметалась борода.

Степа снял с плеч рюкзак. Дед принял его, пропустил внука вперед.

— Шумко тебя продал. Чую: в избу просится, скулит, шельма. Впустил его, он — давай хвостом вилять. Гость-де к нам. Хо-хо... гость во всю горсть! — грохотал Северьян Палыч на всю избу.



Изба обширная, дед занимает в ней боковушку-зимовку на два окна. Сумрачно в зимовке. Солнечные квадраты лежат на полу. Пахнет берестой, травами, можжевельником и чем-то еще, жилем, дедовым.

Степа подволакивал сапоги, умаялся за дорогу, на ровных половицах запинался.

Опрометью вылетел из-под лавки пес. Визжал и прыгал Степе на плечи. Стучал коготками по половицам, оскалял пасть — ишь, обрадел!

Кусок пирога Шумко поймал на лету. Проглотил не жуя.

— Балуешь псишку-то, — ворчал в бороду Северян Палыч. Погнал собаку вон. — Кышь на волю! Нюхти у меня носом-то... пр-ракуда! Не заробил седни на кусок-то! Распускай хвост, ровно помело... распускай! Я т-те!

Ждал дед. В избе подметено: середина чистая, зато по углам мусору — лопатой выгребай. На дощатой заборке сохнут ватные брюки. На полочке у медного со сплющенным носиком рукомойника распечатана пачка розового «земляничного» мыла. Поникнув голенищами, стоят у порога сырье сапоги.

Степа выложил из рюкзака гостины: сахар, цибики чая, кульки с пряниками и печеньем, пироги.

— С тресочкой? — Дед не утерпел и пирог разломил. — Бабка или мама пекла? Против тресочки никакой рыбе не устоять. Рыба тресочка-то... рыба! А пряники ни к чему привнес, со сладкого зубы болят.

Он покрякивал, блестел пронзительными черными глазищами — сам в аккурат ложматой головой под потолок. Ну и Седун — все бы такие были!

— Чего хотел я показать-то... — Степа сунул руку в потайной карман пиджака и тотчас отдернул, наморщил лоб, заливаясь румянцем.

— Ну... Ну! — благодушно понукал дед, был доволен, что внук пришел навестить. — Зарядил — стреляй. Ай, опять похвальна грамота?

— Да нет... Письмо. Про меня.

— Покажь, коли так. Какие промеж своими секреты?

Степа подал ему конверт.

Северян Палыч прочитал письмо вслух и задвигал бровями.

— Эк, мотануло тебя, парнечок, — запозыркивал он исподлобья. — Эк тебя!

Сердится? Степа опустил глаза. Больше всего из-за письма торопился к деду, а он и недоволен. Письмо-то знаменистого художника. Учителя послали ему на оценку Степины рисунки, и понравились они, художник давал советы, называя мальчика «своим юным коллегой», нашел у Степы дарование.

— Ночью шел? — Дед в нос покашливал. — К-ха... к-ха!

— Ага, — сказал Степа, — ночью.

— Дарование, оно конечно, — комкал Северьян Палыч бороду. — Дарование... к-ха! Жил на волости Никаха. Так себе мужичонка, пахать ли, косить ли — спина болела, но, слышь, рукомесло знал. Бабам пресницы ладил. Дуги, выездные сани расписывал. Узоры-колеры пустит, — н-ну! Откуда что бралось! Беда вот вином зашибал. Н-да, ка-алега... Калега — все едино, что калека.

Он приидирчиво выщупал коробку с красками, присланную Степе художником из Москвы. Альбом полистал, слюня палец.

— Подходящий товар. Ночью, баешь, шел? А ну в зыбун бы угодил в потемках? На зверя бы нарвался, на хичного?

— Что ты, дедушка, — улыбнулся Степа. — Глаза мне завязки, я дорогу знаю. Я помню — с завязанными глазами приду.

— Помню... — уже отмякая, пророкотал Северьян Палыч. — Письмишко я заберу. Ради сохранности.

В кутнем углу избы по стенам картинки из численника хлебным мякишем приклеены, на гвоздики прибиты расправленные хвосты и крылья косачей: для красоты. В рамках под стеклом фотокарточки, похвальная грамота Степы за четвертый класс. За рамку и запихал дедко письмо.

— Завтракать будем, с утра-то дельце есть.

Если сказал «Заберу письмо», — не проси, не вернет. Кому бывать в сторожке, письмом дедко побахвалится: «Внукто — чуете? — в наш корень. Кому иному прочему днем с огнем по нашей окрайне пути нет, а он середь ночи прибегад. В Москве, слышь, про него знают!»

Из печи дед выставил чугун ухи.

— До тебя к озеру наведался, щученок да окунишек потряс из сетей. Ходу рыбе еще нет, корзинку всего-то и приволок.

А корзинка у деда — будь здоров, пуда два, поди, рыбы принес.

— Рысь, дедушка, что у Гремячего шкодила, изловил?

— А то...

Значит, поймал.

— Волков-то слышно?

— Не-е... отбил охотку!

Понятно, в сенях на пялах сохнут ихние шкуры.

— В капканы взял?

— А то.

Много дед о промысле не наговорит. «А то... А то!» — тем будь доволен, что хоть отвечает.

— Терешки не вижу, — озирался Степа. Короб у порога был пуст.

Северьян Палыч поворочался на лавке:

— Отпустил, стало быть, на волю.

Терешка — тетерев-петух. Дед осенью ранил, поймал с собакой и держал всю зиму в сторожке. Выхаживал, крыло лечил. Чудит дедко, ему бы как людям на смех!

— Отпустил... да. Чуть свет, а почнет куролесить, — несхотно продолжал старик. — Крылья распустит, и ну уркать, ну в окна грудью шибать. По одно утро выжил меня из избы, тулул я в охапку, в сарае досыпал. С псишкой, глазное, совет их не брал. Колупались ежедень. Верх постоянно у Терешки, набалованный был шибко. Без глаз, думаю, собаку оставит, выклует — до того шельмы колупались, хоть водой их разливай. Зверинец, чистый зверинец!

— Сейчас Терешке, поди, житье, на токах, поди, первый драчун- заводила, — сказал Степа.

Дед откашлялся: «К-ха..., к-ха!» Составил чугун с ухой прямо на пол. Принялся ложкой давить в тарелке моченую бруснику.

— Подох ведь Терешка-то.

— Да? — переспросил Степа. — А как это?

— Обыкновенно: подох, и лапки откинул. Вынес я его на крыльцо. Он из рук вырвался. Обрадел... что ты-и! Сел на березу, да как затрепещется, да заурчит: «ур-р-, ур-р-...» Шибко воле-то обрадел. Урчал, ворковал. А после — хрясь с березы долой. Комом так, нескладно упал. Подошел я, он уж и жив не бывал. Мертвый. Долго взаперти сидел без воздуха лесного, ожирел, а тут — напрягся, когда летел, из себя вышел, когда ворковал-то. Ну и... Ну и дух вон! Ой, и летел на березу, — ровно пуля. Право слово, — пуля! Не поберегся, пересилил себя шибко... Пес-то завыл. Как по покойнику. Ишь, зверь, а сочувствие имеет.

Северьян Палыч вздохнул и умолк.

Ветха изба. Озирался Степа: бревна щелявые, от старости красные, как медные. Половицы хлябают. Окна перекосило.

Ветха изба, и зимой, наверное, насквозь ее продувает. Иней куржак выступает в углах. Бровень с кровлей заносит избенку снегом. В метельные ночи гудит ветер в трубе, стучит

вьюшками, и, как гул морского прибоя, долетает сюда рокот сосен...

— Покажь, чему навострился, — попросил Северьян Палыч. Хлеб, тарелки, ложки унес за перегородку и сел к окну, положив ногу на ногу.

— А что тебе нарисовать?

К листу фанеры Степа пришипили кнопками лист из альбома.

— Лес, дедушка? Надо?

— Валяй, чего хош...

Небо — синее, облака — белые, кусты и трава — зеленые. Разве может быть иначе? Так и Степе бы рисовать, а поначалу у него все идет шиворот-навыворот. Мазокал, — не разбери поймешь, что! Ляпал по бумаге и желтой, и бурой, и синей — всеми красками подряд. Вроде баловался. Тонкие пересохшие губы сомкнуты, на виске бьется жилочка. И то отступит Степа от фанерки, прислоненной к спинке стула, потеребит растрепанный вихор. То глаз прижмурит, словно выцеливая что-то на бумаге, что пока ему одному видно.

Ляп... ляп... Садила кисточку на бумаге разноцветные кляксы.

Северьян Палыч комкал бороду, грузно подаввшись к внуку: ай да Степка, едят его мухи с комарами! Нет на бумаге кляксы разноцветных, слились каким-то чудом, соединились неведомо как — нет их, и бумаги нет. Нет... Даль лесная распахнулась, аж в нос шибануло хвойным смоляным запашком!

— Подходяще малюешь, — приосанился старик, окружным движением расправил бороду. — Ежели для забавы, оно и ничего, за себя такое рукомесло тож постоит. Тож не каждому дано так малевать-то!

И опять на хлебные мякиши прилепил «рукомесло» внука к картинкам из календаря.

— Еще хвост глухаря прибью... Оно и ничего, подходяще!

Скоро дед ушел вместе с Шумком, — говорил же, что у него есть какое-то дело. Внуку он наказал «соснуть часок-другой после волока».

Оставшись один, Степа послонялся по сторожке. Все здесь по-старому. Те же пучки трав сохнут, подвешенные к матице: мята, багульник, валерьяна, — из трав дедко варит одному ему известные настойки для приманки в капкан зверья. Те же карточки под стеклом: вот отец, мама, бабушка. С бра-

тиком Вовкой бабушка нянчится, второй год живет безвыездно в Заречье.

На полатях — рыбачья сеть, клубок березовых лык и погребец с припасами: порохом, дробью и капсулами, медными гильзами.

Степа достал погребец. Стал набивать патроны, — все деду помочь.



— Отдохнул? Добро, коли так, — говорил Северьян Палыч, вернувшись в сторожку под вечер. — Поспал? Дородно, дородно. Сегодня будет не до спанья, со мной пойдешь.

Куда? Степа вовремя удержался, не спросил. Дед до смерти не любит расспросов: «куда?» и «зачем?» Приметы блудят: ежели поперед пути досужие расспросы, то и пути не будет. Суеверный он насчет промысла.

— Ружьишком я для тебя расстарался. Правда, немудрященько... Ну, по стрелку и ружье! На полатях валяется, — погляди там. Принес из заготконторы. Мне вроде бы премия — за пушнину. Принес, там на полатях и лежит. Не трогал. Тебя дожидается.

«Немудрященько» ружье было бескурковкой шестнадцатого калибра. Степа любовно погладил вороненые стволы:

— Спасибо, век не забуду!

— Чего? — загрохотал Северьян Палыч. — Ружье у тебя в руках, ай мутовка? Бери вон ветошь да прочисть его как следует. Заводская смазка-то.

Потом, видя, как радостно засуетился внук, пророкотал уже мягче:

— Сам лучше-то заводи. Не обессудь, в общем, старика.

Снаряжались они в вылазку при свете лампы. Дед проверил у Степы патронаш, сунул в карман кусок хлеба с солью и кашнул бородой: «Пошли...» Шумко, при виде двух охотников с ружьями, взвизгнул от полноты чувств и обслюнивил Степу.

— Цыть! — приструнил его дед. — Дома останешься — нет в тебе нужды. Ай оглох? Русским языком говорят: домовничай без нас!

Степа и Северьян Палыч уже на пороге сторожки окунулись в зыбкий сумрак наступавшей весенней ночи.

Есть что-то волнующее, волшебное и тревожное в этой ночи, что заставляет невольно оглядываться по сторонам, настороживаться и говорить вполголоса.

Велики таинства, свершающиеся под мягким пологом неба... Дышит всеми порами проснувшаяся, обласканная весним теплом земля. С каждым днем толще и бархатистее становятся сережки на осинах; из-под черных, терпко пахнущих листьев уже проглядывают бледные перья травы, скромные весенние цветы; еще больше распускаются «зайчики» на ивах. А там, глядишь — на пригреве проклюнутся клейкие почки; начнут застенчивые лесные красавицы-березки примерять шелковые зеленые шали: гибкие ветви их поникнут, касаясь упругих стволов, где под тонкой атласной кожицей бересты потекли, задвигались живительные соки. Подлетит дятел, пронзит крепким клювом тугую нежную кору и — брызнет сладкая влага, пьяня и веселя птицу-работягу. Загустеет потом сок, красноватым, как кровь, потеком затянет рану...

Северьян Палыч неутомимо шлепал сапогами по лужам, широкая спина его маячила впереди.

— Чуешь? —tronул он внезапно внука за плечо.

— Нет, — встрепенулся Степа.

— Кулема! Ухо-то пониже к земле держи. Снег, говорю, последний уходит. Шебуршит... Чуешь?

Легкий шорох мерещился в зыбкой полутьме. Словно покидал кто-то лес под покровом ночи, боясь, чтобы не заметили его ухода и не удержали.

Шли они долго. Наконец Северьян Палыч остановился. Прислонив ружье к сосенке, стал собирать валежник, а Степу послал с котелком — раздобыть воды в ближнем ключе.

У костра Степу разморило — спать, спать...

В котелке забулькал чай. Северьян Палыч ладонью расправил бороду и осторожно разлил кипяток по кружкам.

— Благодать-то! — Он аппетитно прихлебывая из кружки, смачно хрустел сахаром. — Право слово, живая вода. Помирать, Степушка, стану, дай старому испить этого снадобья, да в лесу — враз на ноги подымусь...

В кипятке плавало больше хвои, чем чаинок, но был он и впрямь бодрящий удивительно крепок, этот пахнущий чадом и смольем напиток.

— Ай еще? — похочатывал дед, беря от Степы кружку. — Знай только, колдовское это зелье... Хо-хо! Окончательно при-

'сушит оно тебя, Степушка, к бору нашему. Потянет тебя сюда, помяни мое слово, хоть из-за тридевять земель!

«А и старый же стал дедко! — с острой болью подумалось Степе. — То и разговорчив». Вжал голову в плечи, смотрел Степа, как дедушка пьет чай, и руки у него в набухших жилах, бугристая пористая кожа на щеках одрябла, в морщинах. Подносит к мохнатому рту кружку, запрокидывает голову, и трясутся завязки шапки-ушанки. Старый ты, старый Седун!. Сучья на костре шипят, потрескивают. Пламя торопится вверх убежать и урчит — багровое оно, от него тени кажутся бурьми, воздух красным и сухим. Серую кору у елок, нижние в бахроме лишайника сухие сучья оттеняют алые бегущие переливы. Прогалины неба в разрывах хвои крупные, а потемень за костром вязкая — не ступи, как в омуте, ни дна в ней, ни покрышки.

— Судачат: один я, да один. Мне ничего, что один, за-видуйте, как мне самому-то с собой легко! — распалялся Северьян Палыч. — Дело у меня, и совесть спокойная. Помни мое слово, внук, спохватимся, что леса-то не берегли... Эх, спохватимся, и кабы поздно не было?

— Дедушка, — прошептал Степа, — люблю я тебя, дедушка, никогда не покину.

На деревне кой-кто злобится, судит о нем вкривь и вкось. Из расчета-де живет Седун бобылем. Знай, на себя работает, пользы от него никакой. Нам бы на его место, не хуже бы справились с работой, коли лес сам растет, а деньги платят.

По деревне, кроме черемух и рябин, деревца у изб не уви-дишь. Перед домом куст, так и дом пуст, — давно сказано.

А ведь в таких-то кустах вся теперь жизнь деда, и пойми, кто прав?

Если все в лес уйдут, что тогда будет?

Все, не все... Дед на жалованье ведь, зарплата ему идет. Прибавь, что рыба своя, мясо свое — дичи в лесу много. Да белку бьет, прочего зверя ловит. Ясно, заработки у деда на зависть, хоть и носит штаны в заплатах.

«Кугу-кугу-у-у!» — послышался протяжный вскрик из ча-щобы.

Северьян Палыч снял шапку:

— Начинается!

— Что, дедушка? — вздрогнул Степа.

— Филин заухал. Ток глухаринный, говорю, начинается.

Филин всегда возле тока летает.

Глухариный ток. Вот куда привел его дед! Степа лишь однажды побывал на нем — празднике огромных птиц-отшельников, а сколько впечатлений вынес...

Дед распинал и затоптал костер, тяжело, с присвистом задышал в ухо внуку:

— Смотри, зря не егозись на току-то. Ходи сторожко, ума не теряй. Ну, тебе прямо, я влево подамся.

И Северьян Палыч беззвучно пропал, будто провалился сквозь землю. Сучок не треснул под бахилами.

Ночь отступала. Бледнели и тухли звезды, занималась заря — словно кто-то водил по небу огромной кистью, обмакнутой в яркую алую краску.

Степа отошел от костища на порядочное расстояние. Что это? Или дерево скрипнуло, или застучала по листьям роса: кап... кап-кап-кап.

Ветра нет, — почему дерево скрипит? Росы тоже нет. Откуда ей взяться? Не лето.

Степу прошибло ознобом — глухарь!

— Так-так-так... шифи-шифи, — падали в четкую, глубокую тишину странные звуки.

Степа зарядил ружье, руки дрожали от волнения, и едва глухарь начал свое «шифи-шифи», — прыгнул. Два прыжка... Замер! Снова прыгнул. Когда глухарь выводит второе колено песни, он ничего не слышит. За эти три-четыре секунды и нужно успеть сделать шаг-другой к нему.

— Тэк-тэк-тэк... шифи-шифи-шифи...

Ближе и ближе подбирался Степа к глухарю. Весь на виду он: распустив крылья, развернув веером хвост и выпихнув шею, ходит по суку толстой сосны. Алые отблески зари ложатся на его выпуклую грудь; она сверкает, точно одетая в вороненые стальные латы. Белеет подбой крыльев; рдеет набрякшая кровью багряная бровь. Топорщится черная бородка.

Ударил в отдалении выстрел — глухарь, поглощенный своей песней, позы не изменил: подняв к небу клюв, тянул шею и топорщил перья.

«У деда почин, мне пора», — подумал Степа, но рука не поднималась. Как зачарованный, ловил каждое движение птицы. Раздвигая веером хвост, глухарь распускал крылья, скрипело тугое перо.

Первый луч солнца, скользнувший по вершинам, пробудил родничок весны. От туманных, седых болот донеслись

трубные крики журавлей; из розового и лилового, полуосвещенного солнцем березняка громче чуфышкали тетерева; в буйном веселье трелями, щебетом, посвистами отзывалась имелкая птичья братия.

Нежная пленка неба, густая зелень ветвей; переливающий радугой бисер капелек воды на елочке, только что стяжнувшей с себя снег и попавшей в солнечный поток; влажно-черные прошлогодние листья... Сколько красок! А эти глубокие мрачные тени в заснеженном буераке, где клокочет между корягами вешняя вода; мягкие полутона от серовато-синего до белесого на морщинистой коре ели!

И было сладко, и кружилась голова от ощущения полного слияния с этим зеленовато-льдистым небом, с паровитой, терпко пахнущей землей, с огненными, словно раскаленными стволами сосен, с мохнатой, дремучей их силой. И это ощущение было — счастье.

«А смогу ли я? — ожгла Степу невесть откуда взявшаяся непрошенная мысль, и у него пресеклось дыхание, в горле за-першило. «Дарование», «мой юный коллега!» Чего стоит оно, дарование-то, когда посветлели почки, когда сосны горят, и ходит по суку, блестит глянцевитым пером птица, оборачиваясь грудью на восход. Чего стоит талант, какой в нем прок? Ну, смогу я... смогу ли! Шелково шуршит глухарь пером, напрягается, запрокидывая клюв вверх, трясет массивной головой, разворачивает черный, в белых крапинах хвост. Крылья бурье истомленно распущены. Тяжко, трудно дается ему:

— Тек... тек... так-тек-тек... шифи-шифи!

На соснах хвоинки пучками в сизом восковом налете, на зеленом волглом мху, на белом, как пена, и сухом мху рыжие сбитые ветром хвоинки. Ручей гремит в корягах, снег тлеет внизу в расщелине...

Сможешь?

Сможешь, что и глухарь запоет, и снег зашебуршит, рассыпаясь на мокрые зерна, и от почки потянет в ноздри смоляным душком?

Степа тыльной стороной ладони провел по глазам, они были горячи и влажны.

Не суметь никому! Так для чего он, дар-то, талант-то?

«Учиться надо тебе, мой юный коллега, развивать свое дарование, помня, что оно редкость, и ты за него ответственен».

— В Москве-то сидя, легко говорить, — с горьким укором прошептал Степа. — На ток бы тебе попасть, на глухарей, — что тогда бы заговорил!

Сучья скрипят, в хвое шумит: «ш-ш-ш», — ветром в бор достает. Дрозды из себя выходят, свищут. Ручей громыхает, лопочет гулко из расщелины. А глухаря они не забывают.

— Тек-тек! — выщелкивает он. — Ши-фи, шифи! — точит.

Чутко его. Поет невнятно, будто кто прутик в пальцах ломает, а чутко его, так в уши и подает:

— Тек! Тек!

Степа закрыл глаза, сжался в комочек у подножья сосны. Осторожный свист, — дед подает сигнал.

Степа очнулся. Под второе колено песни глухаря крикнул отрывисто:

— Я здесь!

Дед трещал сушняком под сапогами, не берегся, однако паузы в глухариной песне выдерживал точно, и птицу не подшумел. Вскоре очутился рядом. На плече его два, связанные тесемкой за мохнатые ноги глухаря, — когда и успел второй раз выстрелить? Страшен дедко в охотничьем азарте: ложматый, борода всклокочена, глаза под мокрыми от пота бровями, как угли. Лицо смуглое, в поту, кажется, дегтем вымазано, так оно черно и лоснится. Ненароком встретить его кто сейчас в чащобе, и душа в пятки, — леший!

— Ослеп? — хрипел Северьян Палыч задушенно, выкачивал белки налитых кровью глаз. — Мошник, того гляди, к тебе на мушку сядет!

Растоковавшийся глухарь умолкнул. Охотники, прячась за матерым стволом сосны, вздохнуть боялись, и было слышно, как сухой сучок трется о дерево: «взы-ы... взы-и», и щёлкают, точат поодаль глухари и качаются с неясным шумом хвойные кудри вершин.

Квохтали с земли глухарки, драли горло: «ко-о... ко-о!» и с грохотом снялся с сука певун, спланировал в розовый туман, в темень хвои, за красную колоннаду сосен.

— Ворона! — плачуще рявкнул дед. — У-ух, хлябало! — рывком он наклобучил Степе кепку на нос. — Мутовка у тя в руках-то? Мутовка?

Расходился старик без удержу: «Хлябало! Разиня! Ворона!», кулаком тыкал Степу меж лопаток, так что голова у него откидывалась назад.

— Сгинь с глаз... Мутовку бы те дать, не ружье!

И так и гнал, подталкивая в спину, покуда не дошли до просеки.

Скамья. Место для куренья. Яма, воды напустило в нее вровень с краями. Хоть бы окурок в ней плавал. Комуходить сюда, — некому...

Степа помаргивал. Мечтал попастъ на ток, а попал — что натворил! Стыдно. Губы пересохли, в корочке. Что наделал-то?

В бору солнце побарывало туман. Накапливался туман в ущельях низин, рыхлые желтоватые клубы его беспрестанно наплывали, цеплялись за кусты можжевельника и сквозили розово, размыто.

— Серчаешь?

Поотошел, смилосердился дедко.

— Я бы сумел взять глухаря. Только я смотрел, дедушка. Вот бы, думаю, картину нарисовать: утро, сосны в тумане, и глухарь поет на суку, шею вытянул и растопырился.

— Раз так, не добытчик ты, Степка! — У деда крылья ноздрей задрожали, но сдержался. — Не добытчик, раз та в тебе струна играет. Та... та еще!

Северьян Палыч небрежно, с какой-то суетливостью замкомкал убитых птиц в мешок.

— Не забрал тебя ток за живое. А я-то надежду имел, что заступишь на мое место. Я ведь сучок увижу на просеке, и то приберу: что я сделаю, того тебе и не делать. Лесник, надеялся, из тебя будет. Лес-то какой: века ему стоять! Потому как реки из него текут, родники бьют. Мало ли земли они поят. Реки — жилы земли, не у хранишь бора, что будет-то, коли жилы пересохнут?

— Бор! Жилы! — вскочил Степа. — Ну, засмотрелся я... ну! Что ты на меня напускаешься? Хватит, надоело!

— А? — скосил мохнатый рот Северьян Палыч. — Пасточку-то распаяли? На кого?

Степа осекся, бочком пристроился на скамью. Наморщил лоб, уставился в одну точку.

— Ишь, характер показывает... ишь! — бурчал дед. По тону голоса было ясно: остывает, прокипятился. — Тянет тебя малевать-то? Ну, отвечай, — тянет?

— Ага...

Степа сопел и ломал прутик, крошил в воду обломки.

— А я к своему месту присох, — глухо промолвил старик. — Дороги в бор нет, гати исгнили, тропки заколодило. Радуюсь, что заколодило, ход закрыт. Ведь наблажат — костер

запалят, так непременно сосну уронят на дрова, коя поматерее. Окурки, бумага. Всякого хламу наоставляют: лешего ему делать-то, Седуну, приберет! Проказят, все бы на вред... Зачем? Я ли бы дорогу в бор не отремонтировал, не наладил — ездите, ходите, бор-то на погляденье! Ровно всему лесу столица — бор-то!

— Странно, дедушка, говоришь, — пожал Степа плечом.

— Странно? — Северьян Палыч насупился. Ворошалось в груди что-то холодное, колючее. Ноги мозжат — застудил kostи, когда тонул в чарусах. Свержило с мостков, увяз по горло. Каюк, думал, шабаш, смёртный час подошел! Кое-как выполз. В плечи стреляет — нет, не прошла бесследно та неделя, когда тушил бор. Один тушил, пока с пожарного самолета не сбросили парашютистов. Не чаял бор отстоять. А отстояли. Даже из Заречья народ был. Как и добрались на пожар мужики болотами, мхами-зыбунами? Невесть как! Поди, дали команду из райкома... Без команды-то кой-кто и не почешется! От костра непотушенного, поди, и занялся бор, от людской небрежности.

Э, давным-давно это было! И было ли?

Легла на переносье складка, замкнулось лицо Северьяна Палыча — отчужденное, скорбное.

Вспоминалось, как впервые внук попал на лесной кордон. В пестере его принес, одна головенка наружу у несмышленыша. Таращился Степанушка на сосны, как на диковинки.

— Деда, это все твое?

— Наше!

— Деда, а зачем меня Седунёнком дразнят?

Однажды насмешил их с бабкой:

— Деда, сколько солнцев на свете? В Заречье солнце, у тебя, гляди, — солнце!

А письмо виновато, будь оно неладно. Ишь, Степка прибежал — и ночь ему была не в ночь...

В низине, где лопотал ручей, пересвистывались рябчики. Северьян Палыч по привычке достал из кармана гимнастерки пищик, дудочку из гусиного пера. Засвистел — басовито, с хрипотцей, под рябуху.

— Счас тут будут! — шепнул он внуку. — Х-хе, хоть шапкой их крой!

«Отходчив дедко», — улыбнулся Степа. Стало ему легко и просто. Отходчив Седун!

Рябчики заотзываались, подлетали.

Неожиданно дед прыжком отскочил с прогалины под укрытие кустов. Щелкнули курки ружья.

Степа обомлел: что с дедом? В затмение, что ли? Рябков трелять весной законом не дозволено.

Держа наготове ружье, старик зовет, манит свисточком.

Вдруг из-за вершин на прогалину пало что-то смутное, серое.. Грянул выстрел, и это серое комом свалилось косо в мох, забилось в судорогах, превращаясь в птицу. Роняла птица пух, клекотала...

— Ох-хо-хо! — рявкал Северьян Палыч, скалил зубы. — Нопался, который кусался! На рябчатину повело, а свинцового горошку не желашь? Не желашь, не примашь? Цар-пайси-и... царапайси, подлый!

Ухватил дедко птицу за лапу, бросил Степе под ноги.

Ястреб... Конечно, ястреб! Вот так Седун — отмочил новый номер.

— Дедушка, да как же ты? — закричал Степа.

Загнутый клюв ястрема пузырил темную кровь, желтые пронзительные очи затягивала синяя смертная мгла. Сучил ястреб лапами, разевал клюв, и язык у него был в крови.

— Отлетался! — перезарядив ружье, Северьян Палыч молодцевато забросил его за спину. — Не перевариваю я ихнюю породу, бедой проказливы. Филина бы так стукнуть, дуролома... Дашибко ухаёт, глянется мне, как ухаёт. Ведь гаркнет, инда кровьстынет. Люблю! Ночь без филина — не в ночь!

— А с чего ты взял, что ястреб к тебе подвалит?

Степа носком сапога перевернул ястрема на спину. Отлетался, глупый, — пер на рябка, попал на дедка, а уж дедко спуску не даст.

— Птичий язык малость кумекаю, — блестел Северьян Палыч звероватыми глазищами; румянец играл на щеках. — Не мудрен он, язык этот. Про-ост! Сперва, значит, спокойно рябки пересвистывались, на манок шли с охотой. После один начал было: «пить-питирить», — да и заглох. Второй затрещал-заверещал. А, беду чуете? Откуда напасть вам грозит? Ежели б куница, иной хищный зверь их насторожил, они б полетели, и дело с концом. Нет, не летят, прячутся. Стал быть, с воздуха им угроза. От птицы угроза. Ай, мудрено?

— Все-таки... — вздохнул Степа. Что на его глазах произошло, перевел на себя: а я так смогу? Кисточкой, красками — сумею, как дедко ружьем? У кого и дар, так у деда. Дар по лесной, по ловецкой части.

С просеки свернули, повел Северьян Палыч Степу густой сырой чапыгой, где ноги вязнут в раскисшем снегу, одежду сучьями рвет и куда и зверь не ходит. Измучился Степа, зло брало: понял, что дедко нарочно кружит по лесу. Ток рядом с избой. Незачем было ночь у костра коротать.

Чудит Седун, от внука и то скрывает уголья...

Ну да, он ли не чудной? Зимой соль на загорбке носил из сельпо в лес. Что солил он, догадайтесь! Лужу в бору, ляжину: «Летом лосям соли не хватает, ужо-ка я им солонец излажу». Изладил... Ляга разлилась, соль в землю ушла. Людские насмешки Седуну, как с гуся вода: в ус не дует, спать собирается за солью в лавку. И купит, на себе притащит — с него станется.

На соль денег не жалко, а псу корки сухой не бросит: пусть себя кормит, давит в лесу зайчат и тетёр. «У хлеба не без крох», — вот его доводы.

Ах, Седун, чудной старик!



Днем отдохнули после охоты на току. Сон не брал сейчас, сумерничали. Дедко скучился, — керосин-то почем? — и лампа потушена.

Ночь за окнами. Луна. Небо отсвечивает, как дымится. Лунной роздымью напитаны низкие тучи, тени в лесу, вершины дальних деревьев. Ветер за окнами, и жутковато, что безмолвно, покорно гнутся вершины, а шум не достигает сюда, за двойные стекла рам. Не по себе, когда гнутся вершины, лунный свет дымится, и где-то гукает филин, носится по бору, ищет спящих глухарей, губит их сонных...

Шумко в сенях бродил, стучал когтями по половицам.

Закинув руки за голову, развалился дед на топчане. Откашливался: «кха! к-гм!»

Лужа под окнами. Ветер ее не заморщит, вода, как смола черна, и блестит. Падет лунный зайчик на лужу, обозначится желтый, будто лист осенний, кленовый, и пропадет — заслонит его чем-то.

— Дедушка, — сказал Степа, — погляди, в ляге-то ровно кленовый лист плавает.

— Кха! — откашливался дед, гулко, на всю избу. — Кгмы! Лист... Эк, что выдумал... Лист!

Задирал бороду к потолку, скреб под подбородком.

— Лист... Ты скажи, Степушка, как страсть твоя зовется, если по науке?

— Искусство.

— Кха! — откашливался дедко. — Искусство! Много ли с того искусства проку? Намалюй сосну того ядренее, да печку ею не истопишь. Посади на бумагу сто глухарей, а не убудет их и не прибудет, и в горшок нечего класть. К-гмы!

«Навязался ты мне на голову, — клял себя Степа, что письмо деду показал. — Не отстанет теперь, так и будет изводить».

— Простых вещей, дедушка, ты не понимаешь.

— А ежели понимаю, да ума у тебя пытаю?

— Шумко на двор просится... — попытался Степа улизнуть из избы.

— Сиди! — приказал дед. — Дверь на волю полая. Нечего за собаку прятаться. Ты мне ответствуй, почто так получается? Звал твоего папашу я сюда. Нельзя, как можно! В правлении штаны протирает, счетами гремит, костяшки гоняет, кто сколько наработал, бухгалтерию ведет. Профессия, ладно! Ты нос ворочаешь от дела, — искусство, ладно. А кто робить-то станет? Кому я дело передам? Ты о том умишком раскинь, что хвалят тебя за лес, за бор мой. Малевал бы какую-нибудь местность иную... Хо-хо! Была бы тебе честь? Была? Бор-то сам по себе картина, — в рамку вставь и вешай на стену.

— А, — протянул Степа. — Я от тебя никуда не собираюсь, ты не гони — сам не уйду.

— Кха... к-гм, — откашливался дедко. — Он понял, называется...

— У меня и, кроме леса, пейзажей, рисунки есть. Твой портрет...

— Мой? — топчан затрецдал под Северьяном Палычем. — К-гм! Потрафил, поди: рубаха в заплатах и борода помелом?

— Как было, — сказал Степа. — Знал я, куда рисунки попадут? Я и Ленина рисовал, тоже в Москву попало.

— Ну? — переспросил Северьян Палыч. — Его самого? Скреб бороду, откашливался.

— Ну и ну!

— А что? Владимир Ильич лес любил, но в наших краях не довелось ему побывать. Ему бы они понравились. Ведь верно? Ведь правда? Я взял и нарисовал, — Степа замялся. — Нарисовал, будто Ленин у нас. Будто с нами. И бородка у

него остренькая, глаза с прищуром, веселые. Будто мы в лесу... В походе, что ли? Нашенские все ребята: Валька Прокоров, Капа Денисова, Коля Нечаевский. Я старался. Очень, знаешь, старался. Вода в реке с рябью. Легкая такая рябь, солнечная — вроде рыбка золотая в реке играет. А берег — крутой, меловой. Отражение от него — как молоком плеснули! На траве роса, сизая, густая.

Северьян Палыч сел на топчане.

— Сам придумал?

Покашливал, оглаживал бороду:

— Н-да... н-да. Ленин, говоришь, лес уважал?

— Еще бы! — откликнулся Степа. — Раз он поохотиться приезжал, да на лесной пожар попал. Своими руками потушил.

— Да... да... — осторожнее, в кулак покашливал дедко. — Это по-нашему. По-лесному.

— Он свободное время охоте отдавал. С лесом ездил встречаться. Ночевал на сеновалах... попросту, знаешь! Вот, девушка, расскажу я случай. Был Ильич на охоте. В Зеленом Острове.

— Лес глухой, остров-то? — вставил Северьян Палыч. — Если так, то и у нас «островом» глушь самую называют.

— Так, так, — кивнул Степа. — Вот приехал Ленин. Слух о нем — шире да дале! Повалил народ! И жил в том краю, лесник. Совсем древний, годов восьмидесяти. Хотелось и ему с самим Лениным побеседовать, и робость одолевала.

— С самим, как не заробеть? — покашливал дедко.

— Нет, он был простой, уважительный. Беда, старик тут был на ухо, потому и стеснялся. Ленин в лес, старик — за ним. И лапти сбросит, наверное, чтобы ступать-то легче...

— Ох он, старый глухарь! — захохотал Северьян Палыч. — Язык на бороде... без лаптей бегал!

— Дедушка, — протянул Степа.

— Да я что? Я ничего, — сконфузился Северьян Палыч. — Я бы тоже бегал, ровно молоденький. Я не осуждаю...

— Стал Ленин замечать: по пятам какой-то старик преследует, подойти не смеет. Ленин сам к нему подошел.

— Радости-то, поди, было у старого! — не выдержал Северьян Палыч. — С самим, ну-ка, Лениным поговорил! Уважил ты меня, Степанушка, что рассказал эту бывальщину.

— Она не вся... — Степа помолчал.

Ветер вьюшкой в трубе стучит. Шабаршит ветка, скребет по стеклу. В сенях Шумко не утихнет, бродит на коготках.

И на луже за окном нет-нет и пропустит на черной, посеребренной луною луже кленовый лист. Появится, исчезнет, а ветер уже шумит — в избе слышно.

— Не вся история, дедушка, — продолжал Степа тише. — Спустя несколько лет дошла весть: Ленин умер. Затосковал старый лесник. Все собирался куда-то, да молчком все, украдкой от домашних. Зима лютая стояла. Лапти новые! старик обул, полушибок надел, да и скрылся середь ночи темной. Куда, — никто не знал. А ушел он в Москву, в котомке холщовой унес венок — сосновую ветку от Зеленого Острова. Последний привет передал от лесов, какие есть у нас, родному человеку. От ветки, дедушка, как смолой-то пахло...

Ночью Северьян Палыч не раз поднимался с топчана. Шагал из угла в угол. В кулаке комкал бороду.

По стенам сторожки шарил ветер. Луна, бледная, будто истомленная расходившейся непогодью, ныряла среди обрывков облаков. Светлые волосы на щелявом полу вздрагивали, шевелились.

— Лист кленовый, — покашливал, покрякивал Северьян Палыч в кулак. — Кому в ум падет, что зайчик-то — лист кленовый?

Разводил руками:

— Кому что дается, кому какой путь!

Кряхтя, он вытянул из-под топчана сундук. Рукавом оттер пыль с крышки. Пахнуло залежавшейся, давно не носенной одеждой. Северьян Палыч со дна сундука достал праздничную, сухо шелестевшую рубаху, — сын дарил на шестидесятилетие, береженая. Примерил форменную фуражку с латунными дубовыми листочками на окольице, тужурку напялил — медные пуговицы застегивались туго.

— Мы того... к-ха! Мы тоже при деле, служба наша не простая, раз пуговицы по мундиру... Н-да, форменные пуговицы!

Степа заворочался на лавке, куда уложил его дед.

На цыпочках подошел дедко, поправил свесившееся на пол одеяло: «Спи, наследник».

На избу лесок-то взят из бора. Эвон половицы-то, бревна-то эвон! Лавки такие, что пьяного мужика уклади, не бойсь, не упадет... Рубили раньше бор, ума не было. Был какой лес — ни конца, ни краю! Мало его осталось. Хранить надо.

В сенях кликнул Северьян Палыч Шумка, спустился  
ним на крыльцо.

— И-и, визжи у меня, ластись! — ворчал он на пса. — Чему рад, дурень? Степка не сегодня, завтра уйдет, кто тебя пряниками станет кормить? Ел пряники? Скусные? Ишь ты-и, Лопал! По ушам вижу, лопал пряники. Ужо зубами и мается, не пожалею. А знаешь, кто у нас Степан-то? Ну, ну? пес взвизгивал, жесткими пальцами мял Северьян Палыч ем загривок. — Выше бери... Выше! Искусство, то-то! Не кажу дому дано... во, не каждому. Видал, как малют? «Коллега», — ты не шути. Никаха пресницы, дуги, санки выездные расписывал узорами-колерами, и то славы было на цельную волость. А Степка... У-у, бери выше! В Москве про него знают.

Трепал старик пса по загривку.

— Ластись у меня... ластись!

Утром Степа удивился:

— Дедушка, ты в избе и в фуражке? В мундире?

— Снять недолго... к-ха! — Дед повесил фуражку на спицу. — Тесновата вроде.

Где его штаны в заплатах, рубаха без единой пуговицы по вороту? За правило взято у него одеваться похуже: «Кто меня в лесу видит?» Бороду дедко расчесал, волосы, кажется, маслом смазал, чтобы вихрами не торчали.

Окна сторожки секло дождем: погодка, собаку на улицу не выгонишь. Недаром бился ветер вчера. Сбил, как видно, погоду на ненастье.

— Жаркое в печи упрело, духом зашибает. Мошник, он в жарю... того, способный.

Степа улыбнулся: дедко в мундире у печи с ухватом, Картина!

А за столом он так угощал внука, что Степа взмолился:

— Что с тобой, обкормишь!

Покашливал Северьян Палыч в кулак:

— Заделье у меня к тебе, заказ, так сказать. Кха... к-гм!

Ты потрафь старику, я не забуду.

Степа уставился на него: что с дедом творится?

— К-ха! — откашливался дедко, слова туго шли с языка. — Ты это изобрази... стало быть, по искусству... Как следно быть, изобрази. Сосны самолучшие поставь, значит. У меня в сторожке народ бывает: свой брат, лесник, по соседству зайдет, из лесничества опять же, охотники опять же...

Пускай смотрят на это самое искусство, что ты коллега. Покажи себя, постараися. Значит так: Владимир Ильич беседу ведет. С мужиками. А старики — в кустиках. Ухо этак... этак вот ладонью оттопырил, слушает.

Не знал Степа, верить ему или не верить.

— Правда, дедушка?

— Кому какой путь, — развел руками Северян Палыч. — А я? А что я? Поскриплю как-нибудь. Скрипучая лесина дольше живет. Загадывал место свое по фамилии, по наследству передать, а раз статья такая вышла... Да ты не сомневайся, Степа: жив буду, тебя не забуду. На краски, кисточки и прочий твой припас — за мной. Еще я хочу сказать... Вот смотри.

Из кармана тужурки выложил он на стол стертые на сгибах, написанные от руки, отпечатанные на машинке бумаги с печатями.

— Документы, благодарности, что я лес караулю. Да чего тут...

Отвернулся он к окну, ссугутил широкую спину.

— Там мой документ, бор наш... И что я хочу сказать-то? Нельзя ли — это я совета спрашиваю, как у мастера, у тебя... Нельзя ли старику того намалевать, чтоб он хоть малость на меня смахивал? Ты потрафь, век не забуду уважения-то...

---



## ГРИГОРЬИН ПЕРЕКАТ

Не хватает дыхания. Подволакивая ногу, я подпираюсь палкой. Будет ли конец лесу! Ломит затылок. Рано я отпросился из госпиталя. «Рано... Раны... Рано-раны... рано-раны», — учащенней, толчками бьется в мозгу. Я задыхаюсь. Я слаб. Стоит перенапрячься, просто наклониться неловко, как разом обволакивает меня липкая серая тьма, я глубже, все глубже падаю в нее, куда-то на самое дно. Вижу себя в гимнастерке, затянутым в скрипучие ремни, живыми вижу погибших товарищей, кричу команды: «Осколочными-и-и... по пехоте... беглый... Огонь!»

В серой мути, застилающей глаза, роем кружат черные хлопья.

Опять припадок? Мальчишку напугаю! Нет, вроде бы отпустило...

Лужи на дороге светлеют. Туман столбами блуждает по лесу. Его вызвал вчерашний дождь. Он оживил, сгустил запахи — почек, мха, сопревших прошлогодних листьев, коры,

гнилых валежин. Лес воспрянул, молодо зазеленел, задышал.  
Как он дышит — мне бы так!

Странно, однако, в этой махонькой лесной деревеньке нашелся трактор. «Газген», или, по-уличному, «Кирьяновна». Если сказать, что Кирьяновна — ветхая, хворая старуха, то, я думаю, нет надобности распространяться много о том, что из себя представляла развалина на гусеничном ходу. Вышедший из строя инвалид. Чиненый-перечиненный, латаный-перелатанный.

Керосином я промывал, чистил его ржавые суставы. По винтику разобрал и смазал мотор...

А очнулся на полу в избе, охрипший от собственных криков, в липком поту.

Мне нельзя поднимать тяжестей, вот и все.

У порога грудились ребятишки. Сморкались бабы в платки и плакали:

— Молоденький-то какой... Тоже ведь отцовский-материнский!

Были хуторок в степи, хата в вишневом садочке. У меня были. «Были», — вам это ясно?

Были, и ничего нет. Одна воронка.

Это и обо мне будут потом петь слепцы по базарам:

Враги сожгли родную хату,  
Убили всю его семью...

Воронку весной заполнила вода. Глинистые рваные берега обросли травой. В воде мокнет обугленная коряга. На корягу выползают пятнистые лягушки. Стоячие их зрачки дробят от свет зари. Лягушки квакают и пучат голые глаза.

В день моего рождения отец посадил яблоньку. Обугленной корягой плавает моя ровесница в воронке от авиабомбы...

С отцом Яши мы были соседями по госпитальной палате. В бредовом забытье я видел родную батарею, из которой уцелел после боя с танками один я — контуженный, исхлестанный осколками. А Григорий Чежин беспокоился, отбиты ли косы. Мотаясь головой по подушке, твердил горячечным шепотом, что погода держится, надо косить Наволоки, и просил принести с погреба квасу...

Перед смертью он пришел в себя.

— Поди, шумный я?

Торопясь — в каждое мгновение мог обратно принять про-  
вал беспамятства — он говорил, что он семейный, есть у не-  
го сын и дочка. Что шибко дородно в его родных местах.  
речка рыбная, леса... А воздух! Какой дома воздух! Кто по-  
бывает в его краях, на век запасется здоровьем!

«Проникающее множественное ранение в область гру-  
ди», — вот, кажется, и все, что мне удалось узнать в госпи-  
тале о рядовом Григории Чежине.

Что я могу рассказать Яше? Хрустит в нагрудном карма-  
не гимнастерки бумага с печатью, извещающая семью Че-  
жина о его смерти, — выписываясь из госпиталя, я взял по-  
хоронную в канцелярии.

Не передал пока. Молчу.

На деревьях проклевываются почки. Прозрачно-зеленые,  
они похожи на ушки. Зеленеет лес.

Ушки, ушки...

Шуршит на мохнатой лапе ели какая-то птака-красно-  
грудка. Сдвигаются прелые прошлогодние листья под напо-  
ром трав: травы штыками всходов пробиваются к солнцу.  
Шмель выполз из мха. Держит, переливает на крыльях ра-  
дугу, собираясь лететь на медовые ивы. Слышат, все слышат  
зеленые ушки, лучатся каплями дождя. Туман высвечен  
солнцем.

Дорога под уклон: скоро дойдем. Я дойду до реки. Сядем с Яшой на берегу, я сверну цигарку, покурю и станет  
мне совсем хорошо.

«Дородно у нас шибко. Лес. Речка рыбная. Воздух... ну  
и все такбе». Ах, Чежин, Чежин! В деревеньке твоей на ко-  
ровах пашут. Нет хлеба. Нет картошки. Лучина трещит ве-  
черами по изbam...

Я поправлюсь, уйду на фронт: «добивать фашистского  
зверя в его собственном логове», — как пишут газеты.

Трактор «Кирьяновну» — кровь из носу! — я поставлю на  
ноги. На коровах пахать не дело.

Пилотка взмокла от пота. Я опираюсь на палку. Не моя  
сы хромота, давно б были на реке. Она шумит под углом.  
Цепляюсь за кусты, когда спускаюсь вниз. Дохнуло све-  
жестью, настоем тины, текучей водой.

Речка бурная, быстрая. На берегу пастуший шалаш.  
Скамья из жердин, серая зола кострища.

Яша отправился вырубать удилища. Я сел на скамью.  
Пальцы трясутся, махорка сыплется мимо. Бью кресалом по

кремню и раздуваю фитиль. Рядом тюкает Яша топором. Мы будем, как он сказал, «крючарить» — ставить удочки с живцами.

— Вода спадет, яз забьем. Знаешь, сколько рыбы наловим? — кричит он из кустов и тюкает топором. Он обращается со мной, как со здоровым, и я ему по-мужски за это благодарен.

Цигарка обжигает губы. Я делаю последнюю затяжку и бросаю окурок. Удилища вырубил Яша березовые, длинные, тонкие. Что надо, удилища.

— Батя ношами рыбу с яза носил: и щук, и подъязков, и муляв... Я помню! Этот перебор так и зовется: Григорин. Батя кажинну весну яз тут забивал. На шесть морд... во! Дивно попадало. По полному пестерю носил. А раз шел батя с яза. В потемках. Чегой это пестерь отяжелел? Оглянулся... н-на! Медведь на задних лапах за ним шантит, передние-то на пестерь положил. Н-на! Батя лямки пестеря с плеч, да на сосну. Медведь, ну-ка, напал!

Яша смеется.

— А он на рыбу... ага! Он на рыбу! Веко у пестеря отодрал — ну муляв лапой выгребать. Лопал... н-ну, лопал — за ушами у косолапого трещало! Не задалось, вишь, самому-то рыбки добыть, так он, дурной, батю середь лесу ограбил!

Яша хлопает себя по бокам, серые глаза его блестят, бледное осунувшееся лицико раскраснелось. Приглашает меня посмеяться над медведем, и я улыбаюсь.

— Мы забьем яз, Яша. Дай срок, пестерями станем рыбу носить.

— На батю рыба шла...

На Яше пиджачок в заплатах на локтях, новенькие лапти с холщовыми онучами и кепка. Большая, наверное отцовская, кепка налезает на бледные, без единой кровинки уши.

— То и перебор-то Григорин, что язы батя забивал кажинну весну.

Он ждал от меня какого-то слова: ничего, мол, вернется твой батя, не тоскуй, дружище! Но я молчу. Я смотрю на черные, торчащие на перекате колья — остатки давнишнего яза — и молчу.

Забить яз нехитро, нужна мужская сила, только и всего. Яз — это частокол из кольев поперек реки. Его забирают еловой хвоей, в оставленные ворота закладывают «морды», сплетенные из ивовых прутьев ловушки. Набивается в морды

«муляв», рыбок-гольянов, столько, что осмотрел яз — и «склян» — пестерь, полон по самую крышку — «веко».

— Коли так, червей идти копать? — моргает Яша ресницами и отворачивается.

— Копай, — разрешаю я.

По скамье муравей тащит былинку. Ухватил челюстями и тащит.

У муравья есть гнездо...

А у меня?



Яша перебредает по перекату. Там торчат гнилые колышки, кипят тугие, стремительные воронки. Я смотрю на бегущие струи, у меня обносит голову и кровь толчками бьет в виски. Ощупывая дно, Яша тычет шестом. Поднимает узелок с сумкой, штанами и лапоточками. Течение сбивает, вода выше колен. Его шатает, Яша бредет, не отрывая ног от камней переката, шарит шестом, где мельче.

Школа на том берегу. Можно попасть по мосту, но досуг ли время терять на обход?

Преодолев стремнину, Яша втыкает шест на виду между камней. Мало ли, вдруг кому понадобится? Он машет рукой на прощанье. Обуваться некогда, он убегает босой.

Или бережет лапти:

— Плести их некому, раз мужики на фронте.

Я ломаю сучья, подкладываю на огонь под котелок. Чаю на одну заварку. Снуют кулики, шустро мелькая с камня на камень. Камни, прибрежные кусты ввязкой пыли. Пыль серая, плотная. Точно река — не река, а шоссе, по которому в лязге, грохоте прокатились наступающие колонны, поднимающая пыль. Но не пыль на камнях, на приречных кустах. Паводок оставил тину, песок. Тина высохла, ее нескоро обмоют дожди.

В глади омутов колеблются отражения удилищ. Крючки с живцами мы-таки поставили.

Влажные елки обдаают запахом размякшей хвои и дождевыми каплями. Мои промокшие обмотки дымят. Костер струится зыбким маревом. Я наклоняюсь: надо взвалить на огонь толстое полено.

Где я видел такую же речку? Если на этом берегу мы, то воин те заливные луга — явно танкоопасный участок. Охва-

ченный привычными заботами мозг работает лихорадочно. Орудие лучше разместить в еловой гривке на бугре. Срубить два-три дерева: сектор обстрела увеличится, маскировка не будет нарушена. А связь? Где связь? Успели ли саперы заминировать подступы?

Сухой треск. Горячий клубок разрыва вспухает у самых ног. Пахнуло горьким дымом. Летят брызги искр, чадные обломки.

Падаю ничком. Уцелел... Не задело!

— Орудие-е-е... Противотанковыми... прямой наводкой!

Дым и гарь. Зловонная духота ближних взрывов. Смрад выедает глаза. Я скриплю зубами, из воспаленного горла рвется:

— Огонь! Ого-о-онь!

Мир затянут липкой мглой, ее прорезают ослепительные зарницы.

— По пехоте противника-а... осколочными... Огонь!

Угар остывает во мне медленно. Я трезвею мучительно долго, с натугой. Карабкаюсь из обморочной одури, словно из глубокой ямы с оскаланными осыпающимися стенками. Стенки отвесные, осыпаются, не за что зацепиться, хоть ногти оборви.

С камня на камень шмыгают кулики. Чадят головешки, облитые кипятком. От кислого чада першил в горле.

Мне нельзя наклоняться. Я наклонился, взваливая на костер полено, — голова закружилась — и упал, и уронил котелок.

Заварка пропала...

С трудом я поднимаюсь с земли. К полам шинели налип хлам. Меня шатает. Голова тяжелая, ее стягивает раскаленный обруч и мельтешат, роятся перед глазами черные хлопья.

Очнись! Нет танкоопасного участка. Ни к чему увеличивать сектор обстрела — нет орудия.

Роятся перед глазами чёрные хлопья, застилая белый свет. Мне нельзя наклоняться, в этом все дело. Я слаб. Очень слаб.

Нет танкоопасного участка — есть за речной излучкой заливной луг Наволоки. Его вспоминал в бреду Григорий Чежин. Луг с пустым остожьем, завалившимся изгородью. Ничего у меня нет. Есть шалаш. Скамья.

Шипят в костре головешки. Котелок валяется на боку.

Приспустив рукав шинели, я поддеваю котелок за дужку. Плетусь к перекату, подволакивая раненую ногу. Я пью, по-

ливаю себе на голову.. Уже хорошо! Совсем хорошо!.. Потому жду, пока успокоится вода. Чужой незнакомый человек снизу вглядывается в меня: наголо остриженные волосы, впалые виски, восковой заострившийся нос. Рано я выписался из госпиталя. Сам настоял. Чтобы увезти семье Чежина похоронную. Почему я пошел на это, не знаю. Я зачерпываю котелком, и отражение пропадает, расплывается полосами.

Над шалашом береза. Непорочно белая береста в сухой пыльце, пачкающей ладони. Когда касаешься коры ладонью, береза кажется живой и трепетной. Кора теплая. Из почек выпростались ушки. Они любопытные, ушки, прозрачные, какие-то детские. Они слушают плеск переката, перекличку куклов на камнях и покойные вздохи ветра.



В полдень явилась Катя, Яшина сестренка. Никак ее не ожидал. Я ей обрадовался.

— Откуда ты, кумушка?

— Мы сок ходили сочить.

Ей лет семь, смуглой тонконожке. На вид того меньше. Теплый платок с кистями повязан на груди крест-накрест. Платышко коротко — по голые оцарапанные коленки. Покрасневшие, как у голубя лапки, ножонки в «ступнях» — лягтях, какие носят без онуч, на чулок или на босу ногу. Она размахивала березовым туесом, а на замурзанную мордочку напускала жалостливость. Научилась, переняла от баб.

— Куда же вы ходили? Как это — сок сочить?

— В загороде были, за поскотиной. Сосны та-ам, — выпевает Катя, кругля губы. — Самые соковые! Ага, ага! Венька в училище не пошел. Без того колы у него, одни колы по письму. Намажет, клякс насадит в тетрадке-е... Жучит, школит его Настасья Гавриловна — Веньке все неймется. А сил в нем ровно в мужике. Пять сосен повалил. Мне зараз две. По-родственному. Евонный отец — летось на Якунью была похоронная — мне крестный. Две сосны Веня повалил. По-родственному. Я наелась и домой туес насочила. Сок — какая еда, вовсе маловытная, а голод заманить можно.

В туесе беловатая масса. Похожа на разваренную лапшу.

— Хм, березовый сок, я понимаю. Что же до сосны... хм!

Катя поражена. Воззрилась на меня. Бровки изогнуты вопросительными знаками:

— Ты вправду старшина?  
— Погоны вот... я артиллерист.  
— Ежели старшина, при звании, так почто не знаешь, как сок с сосен сочат?

Я пожимаю плечами: чего не знаю, того не знаю.

— Ты потому, что контуженный?

Она вытягивает шею, круглит черные, как спелая смородина глаза.

— Ой, я тебя и не спрошу: поправляешься? Легче тебе?  
Я ведь проведать тебя пришла.

— Спасибо, самочувствие прекрасное, Катя.

— Гляди, прекрасное... А сок чего не ешь? Ешь, давай!

Из туеса? М-м, нет. С сосны — пожалуй, не отказался бы попробовать.

Сок сочить — годится не всякая сосна. С пригрева надобна, из затишья. Молоденькая, с сучьями-мутовками от самой земли. Пушистая-пушистая! Именно такую Катя выбрала на угore. Я срубал деревцо. Катя сидела подле на моховой кочке. Болтала ногами и баловалась: спускала «ступни», покачивала их на пальцах, потом подсмыкивала — и лапти звонко шлепали по ее голым розовым пяткам.

— Ступни-ступни-ступеночки, ступеночки-туфелечки в сорок четыре клеточки!

Она поет, а лапти — шлеп да шлеп по голым пяткам.

— Хорошо у тебя получается.

— Мне их папа плел, — сообщает Катя. — У нас в амбаре еще есть. Побольше. Навырост. Папа у нас деловой-деловой. Яше на следу у отца не бывать, хоть и задается: «Я в доме большак!» Поедешь в чашку ложкой поперед него, он того гляди, щелкунчу в лоб спустит: «Черед соблюдай!» Мама-то все по нему: «Ты, Яша, ты в дому большак». Тыфу, большак, под носом блестит. На следу ему у папки не бывать! Деловой у нас папка... что ты! Ни единый мужик по округе не догадался лаптей наплести, как на фронт уходил, — один наш папа. Целое лето плел, пока повестка не пришла. Скажи тебе, ровно в воду глядел, — пригодились лапти-то! Кожаную обувку когда еще износили, и в сельпо шагом покати, ничего званья нет.

Мой топор — «тюк», «тюк». Сеются смолистые щепки на мох, на лаковый брусничник. Катины лапотки — «шлеп», «шлеп!»

Пот противно щекочет шею. Я рублю. Не могу я выкаться, насколько слаб. Я для того и ушел из деревни, чтобы никто не видел моей слабости.

— Папке медаль дали. «За боевые заслуги» — в-вот. А мама ревьмя-ревет, слезами обливается: «Ой, писем нет, ой, неладно с нашим отцом». Эх, мама-мамка, да с такими медалями разве убивают? «За боевые заслуги» — от такой медали пуля-то за версту отскочит! Ведь правда? Ведь верно?

Сосенка опрокидывается растрепанной вершиной во мхи. Я корзаю сучья, по совету Кати очищаю ствол от чешуйчатой твердой коры: она отстает легко, ближе к вершине — длинными желтыми ремнями. Обнажается скользкая, покрытая влажной пленкой изжелта-белая древесина. Пленка и есть «сок». Пленка не поддается кинжалу: чересчур тупое лезвие. Трофейным моим кинжалом удобно снимать часовых, драться врукопашную — случалось, проверено на опыте! Сок же «сочить» с сосенки...

— Не майся, возьми мою коску, — говорит Катя. — Бала-лаечной струной еще бы лучше, да где взять ее? У Веньки струна. Ой, как он считит... ой, считит!

Что еще за «коска»? Ага, ясно — ножик, сработанный из старой косы.

С коской дело пошло. Тонкое лезвие словно само снимает хрупкую тугую пленку. Душистую, сладкую, сочную. Она отслаивается полосами, похожими на лапшу. Мы набиваем этой лапшой полные рты, по губам, подбородку течет.

— В жизни, Катя, ничего подобного не ел!

После соснового соку во рту вяжущий привкус смолы и прохладная здоровая свежесть.

Девочка спохватывается:

— Солнышко, гляди, в высокую березку поднялось. Домовничать меня мамка оставила, а я... Ой, голова моя не-сносная! Корова не поена, изба не метена, хохлатка с яичком... Ой-ой-ой, что будет-то?

— Может, все-таки без яичка твоя хохлатка?

Неохота мне расставаться с этой певуньей-говоруньей.

Бровки опять изгибаются вопросительными знаками.

— Как без яичка?

— Обыкновенно. Без яичка, и все.

Она круглит глаза. Крутой лобик ее морщится.

— Что ты, я щупала: с яичком!

С реки до деревни километра два, и сплошь лесом.

— Ты не боишься?

Я большая, — отвечает Катя.

— А медведи? Лапы у них... у, попадись им, прическу поправят! Не скажи, что здесь медведей нет — в этом-то медвежьем углу. Не у вас ли был случай: девочка забрела к медведю в дом, и он не отпустил, она ему пирожки пекла?

Катя завешивает глаза пушистыми ресницами.

— Маленьких не пугают...

— Ишь ты, сейчас говорила, что большая!

Стрельнув в меня лукаво глазенками, она, потупившись, крутится на одной ноге.

— Дырку протрешь... — у меня вздрагивают брови.

— Ты все-таки взправду старшина?

— До чего недоверчивый человек!

— Мой папа конюхом был, а ты кем работал до войны?

— Учился. В институте.

Катя кивает. Она удовлетворена. Скорей бы поделиться на деревне добытой новостью, но приличия... Она медлит уходить.

— Говорила я Вене, говорила, да ведь неслых! Уж конечно, ты ученый: все «спасибо», да «пожалуйста». Дурака небось старшиной не поставят!



Я грузно сволакиваюсь с угора. Сажусь на скамью.

Мелькает теперь Катино платьице — красное в горошек — по вихлястой тропке. Мелькает в ельниках, где сквозь окажанную дремучесть хвои, плотную сеть сучьев комару не пронырнуть, не обломав крыльев. Там серые стволы в морщинах от старости, там полог сучьев у подножия деревьев образует пещеры, в которых волки заводят логова, и вечно там прелая сырость, духота гнили, и свет проникает в разрывы между кронами туманным столбом, точно в колодец. Там пни, колодник, мхи и мхи.

Мелькает лесом платьице в горошке, лапоточки — шлеп да шлеп...

— Я тебя проведать пришла!

Шумит, погремливает на каменьях перекат. Бурлят, вызванивают стремительные струи, натолкнувшись на покерневшие колья. Кружит, несет хлопья пены.

По берегам — россыпи синевато-белесых камней. Песчаные оползни кручи. Лепятся кусты. Густая еловая хвоя исполосована — белеют на солнце матовые, словно растущевые стволы осин. Остроконечными зубцами вонзается отражение елей в омуте, и, добавляет темной глубины, сообщает им отенок строгой печали.

«За боевые заслуги» — медаль, какую чаще всего дают второму эшелону: писарям штабным, прачкам медсанбата, ездовым обоза, всякому обслуживающему фронтовые надобности люду.

На писаря Чежин не тянул. Грамота, понятно, не та. Был, вероятно, повозочным. Всю войну около коней: на передовую возил снаряды, термосы с обедом, с передовой — раненых, ящики с пустыми орудийными гильзами...

Иду проверять крючья. Узкорылый щуренок, два горбатых красноперых окуня. Небогато. На варево все-таки довольно.

Уха закипает, когда с угора сбегает Яша. Камушки сыплются у него из-под ног, обгоняют. Издали он машет рукой и кричит:

— Наши в Берлине! Наши в Берлине!

— Пора... — не сразу доходит до меня смысл: «Наши в Берлине!» Во мне что-то обрывается, холодно немеет, вот и все. Скручиваю цигарку. Табак сыплется мимо. Не могу добить искру: бью не столько по кремню, сколько по пальцам.

— От костра прикури, — помогает мне Яша.

Ну да, от костра. От прутика. Сунуть в огонь и прикурить, всех дел.

Из холщовой торбочки Яша достает ковригу хлеба с двумя крохотными довесками. Деловито ощипывает довески — пристали соринки. Обдувает, прежде чем положить их на скамью. Он шевелит губами, пересчитывая кульки: в них сахарный песок, крупа, соль — мой паек. Доволен, рад парнишка: мое поручение исполнено. Не как-нибудь, а честь по чести.

— К сельпо тебя прикрепил, не имей заботы.

В тупом оцепенении ломаю щепочки. Не ломаю — крошу. Пальцы дрожат. В цигарке с хрустом шипит махорка. Война кончится без меня. Я у Григорьина переката, за тыщи дорог оттуда, где решается ее исход. Наши в Берлине! Прикрыв веки, язываю из памяти фронтовые шоссе — потоки танков на них, пушек, буксующие в вымоинах, грузовики. И люди,

люди — нескончаемые серые колонны. Качаются штыки в тakt тяжелым усталым шагам. Солдаты на одно лицо. Промокшие, в охлюстанных шинелях, с одинаковыми мешками за спиной: месят вешнюю грязь сапогами, ботинками с обмотками. Люди, люди — на одно лицо...

— Давай обедать, Яша. Ложки в моем сидоре! — киваю я на вещмешок.

Мы располагаемся тут же на скамье.

— Тебе отрезать для двух или одной руки? — примеряюсь я, поднеся нож к буханке.

— Чего? — Яша краснеет. — Я... я разве потому в сельпо хлопотал? Вон у меня... Из клеверной маковки. Дома мы, нам что и надо, — вытаскивает он из кармана темную лепешку.

— Отставить пререкания! — хмурюсь я. Не одним хлебом мы поделимся. Мы поделим и горе, которое, может быть, сегодня падет на твои плечи, большак.

Под моим взглядом Яша сникает. Оживление, с каким он примчал сюда, — наши в Берлине! — с каким раскладывал кулечки, гаснет. Терзают его сомнения: гоже ли, если он примет хлеб? Хлеб-то давно в руках не держали! Лепешки из картови, лепешки из клеверного семени, лебеды.. То-то и оно, осудят на деревне, объедало, скажут. А за столом сидеть в картузе гоже ли? Он сдергивает кепку. Стола нет, да застолье есть застолье. Слюня ладонь, Яша приглашивает торчмя стоящие вихры на макушке. Рубаха на нем перешита из отцовской. Ворот велик, шея болтается, как в хомуте, и видны острые ключицы. Там, где они сходятся, — ямка. Под ушами — ямки. Бледными, без единой кровинки ушами.

— Ну как — для одной, для двух? — нетерпеливой повторяю я.

Он чувствует подвох и мнется.

— Коли так, зачем для двух? Мы не с голодного острова. Корова у нас, молоко и все такое.

Хлеб теплый, будто недавно из печи. Запах от него сытый, заставляет трепетать ноздри. Я отваливаю увесистый ломоть:

— На, на здоровье.

— А если для двух рук? — встрепенулся Яша.

— Для двух ломтик тоненький, одной рукой не удержишь. Солдатская шутка, — подмигиваю я. — Знай, в чью компанию попал. Ну, поехали!

Чтобы не накапать, он поддевает ложку ломтем хлеба. Точно котелок не на скамье, а на хрустящей камчатной ска-

терти. Он не чинится, отнюдь, — это воспитанность, та порядочность, закваску которой, по-моему, обнаружишь у детей разве в крепких деревенских семьях, где с малолетства приучают уважать хлеб и труд, как начало всего сущего.

От еды, от горячей наваристой ухи я пьянею: с утра ничего не брал в рот, кроме стакана молока. Сосновая лапша — не в счет.

А перекат погремливает, растирает мелкое каменье в дресву. Стремительная, в бликах, в сверканье, вода ликует невесомично и бурливо. А солнце... Слушай... слушай: звенят золотые струны лучей в хвое, трепещут зеленые травинки на прогалине, куда сквозь хвою нацедило солнце лужицу света. Лужицу в сумрачных берегах теней. И небо не молчит — его сияющий купол откован из сплава, замешанного на синеве и прозрачности, на хмельном духе смолы, хвои и мхов, на солнце, и еще на чем-то чистом, звонком... Одолели мы войну! Слышите: наши в Берлине!

— Бывало, забьет папа яз, крючьев по омутам наставит. Выберем мы времячко, с ночевкой уходим на реку. Папа, мама с Катюшкой на руках, я... — Как из-за стены, доносится речь Яши. — Непременно папа к тому сроку пиво варили. Как будто на праздник. Ухи — целый котел, на сковороде скворчит селянка. Пива припасен ведерный туес. Костище-то запалим, на всю округу зарево! Пожалуй, на огонек, добрый человек, в радости не таимся. Мужики придут, парни, девчата — гармонь, пляски. Дивиться папой дивились, да соберется народу к перекату — что гармоний, что веселья-то! Все не с пустыми руками: у кого пироги, у кого вино, либо пиво, либо лампасея из сельпо... Ладная складчина, дружная, такая заединщина бывала!

Он затягивает паузу.

— Яза нет. Гнилые колышки торчат...

— Мы забьем новый, Яша.

— Так, как тогда было, больше не будет. Ешь, — понукает он меня. — Не суши ложку. Любил папа уху с костра. Ты хлебай, помянем папу.

Я вздрагиваю. Запоздалое подозрение оглушает: «помянем папу», — что это значит? Неужто догадались?

— Что, Яша? Что ты хочешь этим сказать?

— Катюшке про похоронную молчи: мала, разревется... — Яша не опускает взгляда.

Он суров, печален. Меж бровей складка. Складка, в ней бисеринки пота, — вог и все, что выдает его муку.

— Маму подготовлю, ты не мешайся, — продолжает Яша тихо и твердо. — Мне сегодня на ум пало: ты скрываешь от нас. Известно, что... Мама — не я, сразу, поди, поняла, с чем ты к нам за порог вошел. Кто же к нам на поправку здоровья приезжает? Виши, картошки у нас и то не досыта. Ты ешь, хлебай уху-то, помяни папу. Где его: на фронте или в лазарете час застал?

Не лезет в горло горькая поминальная уха. Если б он кричал, бился, плакал, то мне было бы легче, кажется. Кому-ко му, но мне известна тяжесть молчаливого горя. Непомерная тяжесть.

— В госпитале? — Яша кивает понурясь. — Отстрадал, если так.

— Ранение в грудь. Тяжелое. С ним не выживают, Яша. Нечего мне перед ним прятаться. Я имею дело с мужчиной. Он в осиротевшей избе большак, за все в семье ответчик, ее опора в беде.

— По-людски похоронили-то?

— В братской могиле, Яша.

— Где?

— В Вологде. По Пошехонской дороге кладбище.

— Спасибо. Спасибо, что в такой час нашего дома не обошел.

Я молча крепко жму его руку. Не в силах сказать хоть что-нибудь, я все, что думаю, вкладываю в это пожатие.

— Не пропадем... — Яша будто наедине с собой поверяет свои думы. — Не мы первые, не мы и последние.

У тропы мясисто-зеленые, лиловые, алые цветки. Я узнаю их: «окопник». Немало, знать, покопано, порыто на земле окопов — и цветы называют в их честь!

А перекат шумел, шумел неумолчно...

---



## КИРИК И АЛЕНКА

Кирик оперся плечом о косяк: «Так и есть, мама дома. Не на больничном ли?» Тяжелая набегающая дверь подтолкнула, он ступил в избу. Пиджак подпоясан ремнем, пазуха оттопырена. Сапоги в росе, в травяной ветоши.

Дарья Романовна мыла кринки. Обернулась и выронила на пол мокрую тряпку.

Кирик отвел глаза.

— Болеешь? — опередил ее вопросом.

— Летом от безделья ли? Здорова. А что с тобой-то? Ох, парень, — завела она привычно, — весь ты в отца: что хочу, то и ворочу, вот твои правила. Был бы жив отец, не допустил бы он тебя скотину пасти, так ты это и знай. А где Данила, куда он, зряховатый старик, смотрит? Лясы точить, одно ему далось...

«Догадалась, заранее меня выгораживает», — подергал Кирик бровями, вслух же сказал:

— Путаешь ты, мама, на совещанье Данила. В районе. Со вчерашнего дня.

Он знакомо для матери уводил взгляд вбок.

— Красавка у нас пропала...

Дарья Романовна так и села на лавку.

— Чуяло мое сердце. Ой, не рассчитаться будет! Что ты говоришь-то... Что ты... Мыслимое ли дело — пропала!

— Да нет, мам, не совсем пропала. Ну, не подохла. В лес убежала ночью. Отдельно ее держали в загоне, раз стельная. Жерди она переломала, раскидала. Рога-то у ней, знаешь! И норов... норов! Поди-ка, совладай с ней.

Кирик повесил на гвоздик кепку и устало опустившись на лавку, потер виски ладонями.

Мать сторожила каждое его движение: «Вытянулся за лето, в пору отцовские пиджаки донашивать. А худой, черный-то... Пуговицу сам пришивал: рубаха синяя, нитка белая»...

— За пазухой чего прячешь?

— Зайчиконок. — Кирик несмело улыбнулся. — В огородах нашел. Унес вот. Возле деревни собаки, как пить дать, его порешат. Ишь, царапуля!

Кирик вытащил из-за пазухи отчаянно упиравшегося зверька. Зайчиконок, казалось, состоял только из пуха, лап и махром закрученного хвостика.

«А умок детский», — не могла Дарья Романовна унять дрожащий подбородок. Подняла с полу ветошку.

— Сиди, на стол сейчас соберу.

Щи были тепловатые — печь сегодня не топлена. Хлеб пресный. Чтобы не обидеть маму, Кирик поел немного и положил ложку:

— Спасибо, сыт. Я к тебе только чтобы проведать. Мне ведь в контору. Скажу там...

— Чего торопишься? Свежего творожку принесу. Сиди, сиди... По неделе тебя не вижу, забыла, какой ты и есть.

— В другой раз творожок.

— Зайчиконка не бери. Напустится Петр Иванович: с зайцами, скажет, наперегонки скачете, скот растеряли. Не пойти ли мне вместо тебя? Отцовский ведь характер, обхождения не знаешь, с плеча бы все рубить... Нет, я пойду в контору, не пущу тебя.

— И не думай. — У Кирика подрагивали брови: «Зря зашел, расстроил ее».

Мать проводила до калитки. Стояла, смотрела из-под руки, как он с улицы свернул на задворки. Смотрела на кепку с пуговкой, на пыльный пиджачок:

— Не рассчитаться будет. Красавка потерялась, стельная на нашу беду.

У колхозной конторы меж двух берез поставлены качели. Крепко, по-мальчишечки упираясь в сидение ногами, качалась на них председателя Аленка. Подол раздувало колоколом, качели шатались и скрипели.

— Перевернуться бы тебе, — буркнул Кирик. — Секретарша... На посту!

— Ага, заявился? Красавку проворонил. Ага-а! Батя даст тебе жару! — на ходу Аленка спрыгнула с качелей. — Пастух... Званье одно, не пастух!

Председательский «ИЖ» на месте. Шины и коляска мотоцикла забрызганы грязью: с утра, видно, Петр Иванович мотался по бригадам. Должность ведь тоже — за столом ничего не высидишь.

Что Петр Иванович жару задаст за Красавку, нет сомнения, будь заранее готов.

Но откуда Аленке известно, что корову пастухи потеряли? Дурные вести не лежат на месте...

Аленку не зря зовут секретаршей. Сам Петр Иванович признается, ухмыляясь, что к его дочке не то, что деревенские новости — директивы райисполкома раньше правления доходят.

Кирик подергал бровями.

— На, подержи! — и сунул ей в руки зайчонка.

— Оеньки! — завизжала Аленка. — Какой тепленький! Где ты его, Киря, взял?

«Отвязалась», — с облегчением вздохнул Кирик.

Бежал на крыльце. Пошаркал подошвами сапог о пологик, постучал в обитую дерматином дверь.

Петр Иванович говорил по телефону, прижимал трубку плечом. По тому, что председатель смеялся, глядя в потолок, и, найдя спички и закурив, держал папиросу в горсти и шея у него багровела, Кирик смекнул: «Не ко времени я...».

— Район на проводе! — прижал ладонью микрофон трубы, кивнул Петр Иванович, хотя Кирик без того знал, что председатель говорит с начальством. Этот смех его, суженные блестевшие глаза, папироса в горсти — сводку небось передает.

— Куда? — задержал его Петр Иванович шепотом. — Бери стул, газету пробеги пока, я в момент освобожусь... Не-ет, не прибедняемся, — закричал он в трубку, изгинаясь в кресле, суживая блестевшие глаза. — Дадим центнерок сверх плана. Да, да, будет сделано! Шиферу бы нам... а? Нет, нет, коровник ремонтируем!

Разговор по телефону затягивался. Кирик взял газету: свежий номер, районная. Один заголовок помечен птичкой. Кирик прочитал его, встретился взглядом с Петром Ивановичем и сунул газету в карман пиджака.

Наконец, на другом конце провода дали отбой. Петр Иванович бережно повесил на рычажок трубку, размял плечи, потянулся.

— Ну, чем живем, молодая гвардия? Должен заметить: редко бываешь у нас. Пост высокий портит?

Пепел с папиросы сыпался на бумаги на столе, и Кирик почему-то захотелось его сдунуть.

Тона Петра Ивановича он не поддержал.

— Стадо на руках, сами знаете.

От пиджака его пахло кострами, сеном.

Петр Иванович мечтательно произнес:

— Брат, воля тебе вольная... Грибы-то есть в лесу? Грибок поперчить да на прутике над огнем запечь — шашлык? — и со вздохом причмокнул. — Шашлык!

— Соль у нас выходит, кончаем остатки, — сказал Кирик.

— Добро, вот ордер кладовщику, — Петр Иванович черкнул несколько слов в блокноте и с треском оторвал листок. — Сегодня же привезешь.

— Да не из-за соли я. — Кирик ниже наклонил голову. — Красавка... В общем, утром хватились, ее и след простыл. Такая шальная животина!

— Шальная? — опершись ладонями о стол, поднялся Петр Иванович с кресла. — А кто за пастуха остался? Я спрашиваю!

Когда Аленка с поленицы заглянула в окно, то увидела в кабинете склоненные над столом две головы: лохматую, с проседью на висках — отца и стриженную, с торчащими, как ручки у кастрюли, ушами — Кирика. О чем совещаются — любопытно, да не терпит отец, когда ему мешают.

С крылечка Кирик спустился, настынивая.

— А ты куда, Кирия?

— За кудыкины горы. Подай зайчонка. Замаяла, вовсю окосел.

— Красавку ты искать? Ага?.. Меня возьмешь?

Кирик посадил зайчонка за пазуху. Насвистывая, щурился — словно Аленку впервые увидел.

— Все равно пойду. Подумаешь, еще распоряжается. — Аленка покрутилась на пятке. — Указчик нашелся.

— И указываю...

— Сейчас в ниточку вытянусь! — Аленка махнула косой. — Жди, дожидайся: ниточкой перед тобой вытянусь и перервусь. Ага! Перед тобой!

Задать бы секретарше, но у него на руках все стадо первой фермы, и положение не позволяет. Кирик вразвалку, насвистывая, направился вдоль деревни. За пазухой зайчонок, в кармане газета. Шел и спиной видел: из домов на него смотрят — большой у Дарьи парень!

На лугу за околицей остановился. Аленка — тоже, выжидательно поглядывая. Ветер треплет пушистую косу и передник.

— Ну, чего ты привязалась? Да еще босая. Наколешь ноги — на себя жалуйся.

— Ой, что ты, Кирия, у меня пятки каленые.

Кирик вынул из-за пазухи зайчонка, смешно подрагивавшего носом и раздвоенной губой.

— Дай мне еще погладить, — потянулась Аленка.

— Убери руки! — зыркнул Кирик исподлобья. — Не нагладилась будто. Ему на воле жить, он тебе не котенок.

— Очень-то кроха этакая понимает.

Но руки она отдернула, спрятала за спиной.

Посадив зайчонка в траву, Кирик свистнул в пальцы. Зверек бросился наутек. Мелькнул белый хвостик в траве и пропал.

Аленка покрутила головой: ну и Кирик! Кирия так Кирия! И пошла за ним, ступая в следы, оставленные в траве его сапогами. Луговина хранила росу: Аленке пришлось собрать сырой подол в горстку, точно она речку вброд переходила.

На реке натужно бил плициами по воде буксир. Где-то стрекотали косилки.

Из гущи трав, уже начавших буреть от студеных рос, робко выглядывали голубые, с золотыми точечками незабудки. Фонтанчиками брызгали красные щавели...

Травы, травы, травы...

— Как у нас, Аленка, с сенокосом-то?

Бедный Кирик! Ведь стоит открыть Аленке рот и... В общем, Кирик вторично выслушал сводку, только что переданную в район, потом без перерыва узнал, что...

Что прибыли в колхоз две льнотеребилки, трактор «Беларусь» и новая молотилка.

Что у тетки Дуни гости: добра-то из города привезли полные чемоданы.

Что на птицеферме одна кура — «рябенькая, с висячим гребнем, но ты, Кирия, ее все равно не знаешь!» — декаду не неслась, да, вот те раз, всех удивила. Полдня кудахтала, а потом икота напала. Ходит кура и икает. А в гнезде у нее... кто бы подумал! Яйцо в два желтка. Во, крупнящее!

— А ты думаешь, Кирия, откуда у Нины на лбу такая шишка здоровенная? Да что с тобой, Кирия? Ты ровно с другой планеты!

Кирик усмехнулся: ну, трещотка, ну, секретарша!

— Отстаешь ты, Кирия, от жизни. Вот!

Аленка, прыгая в траве, запела считалку:

Течет река.  
Через речку мостик.  
На мосту овечка,  
У овечки хвостик...

«Хвостик! — Передернул плечами Кирик. — Беззаботная...»

Аленка сорвала с головы платок и припустила по лугу:

— Догоняй!

Бойко работала она калеными пятками. Кирик настиг ее у самого леса и, запыхавшись от быстрого бега, схватил за плечи.

— Пусти! — вырвалась Аленка, мотая косой. — Век с тобой играть не буду. Я нарочно, а ты и рад!

Кирик близко увидел глаза Аленки с черными, по крупной горошине, зрачками; колечки глаз зеленые, в золоченых искорках. Увидел над верхней губой бисеринки пота, пушок, родинку на щеке и — разжал руки.

— Бя-я! — Аленка показала язык. Откинула за спину пушистую косу и, тоненькая, прямая, вприпрыжку побежала вперед:

Разлилася речка,  
Развалился мостик.  
Поплыла овечка,  
Отвалился хвостик...

Дорога. На вязкой глине четко отпечатаны рубцы автомобильных шин. Это колхозный «газ» ездил на выгон — за бидонами с молоком, возил зеленую подкормку.

Косматый пес вывернулся из кустов и залился пронзительным лаем на девочку, потом увидел Кирика и, зевнув, осел на лапы, вывалил мокрый язык.

Коровы, иные разбрелись по пастбищу, щипали траву; иные, зайдя в небольшое, заросшее кувшинками тинистое озерцо, дремали, опустив рогатые головы.

Васюта лежал в тени шалаша и читал потрепанную книжку. Шалаш сложен из жердей, покрыт ветками и еловой корой. Брезентовый полог отдернут, видны нары с сеном, застланые одеялами, грубо сколоченный стол; у котелка и ложек, прикрытых тряпицей, жужжат мухи. Под потолком висят полотенце и оранжевые трусы. На рогульках у костра плюется на уголья из носка медный закопченный чайник.

Кирик поправил ремень на пиджаке.

— Доложи обстановку, Василий!

Васютка вскочил и дурашливо разинул рот:

— Разрешите не дрожать?

— Я жду, — заводил Кирик бровями. — Или уговор забыл?

— Чего ты, Кирия, цепляешься? — Васютка огляделся. — В стаде — полный порядок. Красавки нет, так не тебе об этом докладывать... Ха, докладывай ему... ха!

— Что тебе было велено?

— Ну, перегнать коров в другую клетку. Ну, я вижу, и здесь травы хватает. Вон Реклама — поперек себя толще. — Васютка почесал нос и подсмыкнул штаны. — Уж скорей бы дедко возвращался, нето хлебнешь с тобой горя. Хлебне-е-шь... День и ночь пилит, как, в самом деле, не надоест.

— Ты сознаешь, кто ты такой? — Кирик искоса поглядывал на Аленку: все передаст отцу. Ухо держи востро с секретаршой.

— Я? — ткнул себя в грудь Васюта. — Ну, что ты, Кирия, вяжешься по пустякам? Шарик Красавку прозевал, — с него спрашивай. Он ночью удрал в деревню, не я. Иди, Шар, тебе взбучку дадут. Иди, рыжий...

— Вот кто ты теперь, — подал Кирик газету. — Просвещайся!

— «Пастух — центральная фигура в животноводстве», — Васютка запинался на каждом слове. — Ну, Кирия, я не фигу-

ра! Где уж мне... Шар! Шар! — закричал он. — Ко мне!

— Постой, — остановил Кирик.

— В футбол сыграем? — Васюта подмигнул. — Вратарем — Аленку. По десять голов забьем, не будем же надрываться, верно? Мяч я надул, постарался! Ботинки снимать или по гсей форме Аленке классный футбол покажем?

Кирик опять бросил выразительный взгляд на Аленку, стоявшую поодаль: все бате передаст, слова не пропустит и от себя добавит.

— Так вот, значит, Василий, на всю клетку коров не распускай, стравливай траву исподволь. Да про соль не забудь. Разведи в бадье и рассол веничком разбрзгай по траве.

— Ясно, — почесал нос Васютка. Подняв с земли длинный кнут, поплелся к стаду. — Шар! Нажми на правый край. Пасуй, пасуй, мне Рекламу! Та-ак! Два ноль в нашу пользу!

Пес с зализистым лаем врезался в дремавших коров.

Кирик зашел в шалаш. Отвалил от краюхи толстый ломтъ хлеба, густо посолил и положил в жестяное ведерко, еще хранившее следы черники.

— Положение серьезное, — говорил он Аленке. — Красавка в лес сбежала телиться. Не признает зоотехников и ветеринаров. Норов у ней. Помнишь, жара стояла? Мы ночами тогда пасли. На дневку в лес стадо угоняли. В лес и подалась Красавка. Позавчера я ботало на нее надел..

— А она, значит, телиться ушла? Ага? — Черные бровки поползли у Аленки на лоб.

— Найдем! — обнадежил Кирик. — В случае чего, тебе за ветеринаром бежать. Петр Иванович его по телефону из райцентра вызвал. На совещании он тоже. Нам-то его ждать — время зря терять.

С выгона дорога шла сперва по кустам, широкая, залитая водой, разбитая копытами коров и кочковатая. Аленка забрала подол нарядного сарафана в горстку, прыгала по кочкам, отставала, и на верхней губе у нее заблестели капельки пота. Кирик молча месил грязь сапогами, не спуская глаз с дороги.

— Кирия, зачем ты не взял лошадь?

— Жеребца под выездным седлом, а? — Секретарша его удивила. Пастух ловит брыкаливую корову на племенном жеребце! В седле! Ну-у, удивила!

— А что? — Аленка тем временем отжала подол. — Чего ему даром овес переводить, хоть промнется.

— Чудо, жеребец ведь за председателем закреплен!

— У папы мотоцикл, — сказала Аленка.

«Как же, дадут жеребчика, дожидайся!» — Кирик надернул кепку на лоб.

Что Кирик ни с того, ни с сего злится, Аленку забавляло. Топает в сапожицах вперевалку, качается из стороны в сторону. С боку на бок — топ-топ... Мужика из себя строит. Фи! А у самого штаны сзади мешочком отвисли, рубаха выбилась из-под ремня — эво, будто свиное ухо. Ухо! Ухо! Аленка прыснула. И того больше ее смешило, что под коленками у Кири штанины собраны гармошкой. В пиджак вырядился, в эту-то жару. Вперевалку — топ да топ, и глаз от дороги не оторвет.

— Эй, — позвала она, — ты золото ищешь? Чур на двоих!

— Насмешничай! — Кирия заводил бровями. Не будешь ей объяснять: он высматривает следы Красавки. Следы говорят, что шальная корова с выгона припустила прямиком в чащу. Порой наддавала рысью, поди-ка, грязь выше рогов летела. Ну, не дура ли шальная? Ох, и норов!

— Клад... — хмыкнул он, колюче заводил бровями. — Твой батя посулил мне премию, если Красавку найду. Премию... в-вот!

— Фи, за что тебе почесть?

— И я думаю, — насмешки ее Кирик пропускал мимо ушей. — Что, я без премии буду хуже искать, да? Да?

— «Да», «да», — осерчала Аленка за отца. — Задакал? На тебя не угодишь.

Ничего не понимает! Где ей, день-деньской у конторы отирается, и все ее заботы. Чего там, у конторы наберешься? Что у курицы яйцо с двумя желтками да к Дуне гости приехали с чемоданами добра...

— Гляди, рябцы муравейник разрыли, — бросил Кирик походя.

— Где? — Аленка попрыгала на одной ноге. В лесу дорога суше, зато сосновых шишек: так и колют пятки.

— Может ты, Кирия, сам раскопал, почем я знаю.

«Как же, — подумал Кирик, — от безделья мне в муравейниках копаться!» С весны он рябцов тут вспугивал. Рябцы сдного места держатся, это всем известно. До чего хитрые ж эти рябчата... М-м! Сам меньше цыпленка, пуховой еще, рябчонок-то, а склониться умеет — на-поди! Бежит, бежит от

тебя — на виду. Вдруг, нет его! Будто шапку-невидимку надел... И вовсе не шапку. Захватит рябчонок прошлогодний листок в лапки, опрокинется на спину и листком прикроется. Ну, что ты скажешь?

На поляне, поросшей травой, он дал знак Аленке: тихо!

— Тетерева здесь живут целым выводком.

— Ой ли? — не верила Аленка.

В лесу сладко кружилась голова от запахов прелого листа, мха и разогретой хвои. Выщелкивал зяблик, укрываясь в кроне сосны, а Аленке думалось, что он поет только для нее одной... А вот под резным листочком на солнцепеке зреет душистая земляника. Аленка наклонилась и сорвала ягодку. А вон, в стороне, голубеет озеро среди болота. Оно будто в воздухе висит, залитое до краев солнечным сиянием.

И на лес щедро льются потоки солнца. Подставляют березы блестящие, покрытые нежным пухом листочки, и ольхи — тоже подставляют свои шершавые листья, — так ребятишки стоят в ливень под крышей избы, подставляют свои ладони струям теплого дождя из желоба...

— Киря! — закричала Аленка, пальцем указывая на следы, пересекавшие тропку. Клешнятые, большие, они чернели глубокими вмятинами на мху. — Киря, ты просмотрел. Ага! Вот корова-то прошла! И следочки маленькие рядом!

Кирик и шагу не сбавил. Лосиха это прошла, вдвоем с лосенком.

Перегородил дорогу осек — лесная из наваленных кое-как елок и березняка изгородь. К осеку гоняли в жару пасти стадо, спасали от оводов. Костище старое, елка матерая с затесами на стволе. Здесь пастухи коротали время: гроза в лесу застигла. У-ух, шурowała! Сколько елок выворотило с корнем... посчитай-ка! Молнии били в колодины: даст-поддаст, труха летит, — будто снаряд разорвется! Вымокли тогда, страху натерпелись, а ничего, благополучно обошлось, ни одну корову и не оцарапало, не оглушило.

У осека — делянки. Дрова заготовляли для локомобиля колхозной электростанции. Пни ровненькие, как пятаки. Травы по делянкам выше пояса, малинник, — досытая наедались коровы.

Кирик надеялся у осека, на лесной поскотине, найти Красавку.

Дальше осека в лесу он не бывал, не доводилось, заделья не было за осек ходить.

А Красавка — будто на зло! — за осек махнула. Изгородь повалила. Рога у ней знаменитые. Выворотила и повалила осек прямо с кольями. Силы ей девать некуда, дикой. У-у, голова несносная!

Сразу за осеком по следам — на мху, на сухой почве отпечатки коровьих копыт разбирались с трудом — Кирик свернулся в сторону. Ну-ка, в чащу сиганула непутевая, глаза бы ей, несчастной, выколоть, не бегала бы из загонов, не полошила пастухов!

— Киря, скоро мы? — высматривала Аленка. — Скоро?

— Году не пройдет...

Знатье бы Кирику да веданье, когда им покажется, где обнаружится потеряха-корова, не переживал бы он так...

Шли, шли: впереди — Кирик, пиджак подмышками темный от пота, сзади — Аленка.

А след — на! Опять к осеку, к дороге вывел!

— Круги давала, — Кирик морщил лоб. — Нарочно след запутывала. Дикая дикарка, чтоб ей пусто!

Скоро следы совсем пропали: как нечистый дух Красавку унес! Запутала все-таки следы.

Кирик снял кепку и стал вслушиваться в лесной шум. Прислушалась и Аленка, как ветер тянет в вершинах елей унылое «а-а-а», перебирает листы на осинах... Прошуршала в хворосте ящерица, тренькнула синица, все услышала Аленка, а вот о том, где Красавка, ветер ничего не рассказал.

— Худо дело, — Кирик морщил лоб и двигал бровями, — Следов больше нет...

— Может, волки ее?

Кирик посмотрел такими глазами, что Аленка юркнула за куст и уж там притопнула: ну, Киря, ну Киря!

У подножья толстой лиственницы что-то блеснуло тускло. Подошла Аленка ближе: — Ой, ботало! Вот те раз! — Она подняла ботало. Густой металлический голос колокола — бом-бом-бом разнесся по ельнику.

Как из-под земли вырос Кирик. Увидел в руках девочки железный колокол. Скуластое, смуглое лицо его вытянулось, близко поставленные к переносцу черные, как уголь, глаза расширились.

— Я думал Красавка, даже обрадовался...

Ремень, которым ботало было привязано на шею коровы, оборвался там, где проколота дыра для пряжки.

— Шею, небось, о лесину чесала, — ремень-то и не выдержал. Но куда теперь Красавка делась? — У Кирика подрагивали брови. — Она ведь здесь была давно. Ремень сырой от росы. Следов, главное дело, никаких...

Повертел ботало, Кирик положил его в ведерко.

Дорога завела в низину, а там топь — ни взад ходу, ни вперед. Кочки, бурелом, заросли смородины. Темные лужи стоячей воды. Кирик ступил на трухлявую, поваленную ветром ольху, колодина не выдержала его тяжести, треснула, опрокинула в самую грязь.

Беда не приходит одна. Подвели Аленку ее каленые пятки — порезалась осокой, захромала.

Из топи выбрались, попали в болото. Голубики тут! Будто пролилась синим дождем диковинная туча!

Нет конца болотине. Шли, шли... А солнце-то, погляди, ниже и ниже. Вот-вот наткнется на вершины елок...

— Придется обратно возвращаться. Видно, старые на болоте следы, — сказал Кирик. — Он давно понял, что следов на болоте ничьих нет, кроме лосиных, но надеялся на чудо: вдруг и Красавка в болото убралась телиться! С нее станется, раз шальная и дикая.

— Какой ты в самом деле... — запмыгала Аленка. — Куда и завел!

Зыркнул на нее исподлобья Кирик:

— Не морочь мне голову! Я волок за собой, да?

У Аленки губы изогнулись подковкой. Не напрасно Васюта жаловался. Да и все они, Придворы, такие. Отца у Кирика за глаза Суземом звали. И сын хороший: уставит глаза, лоб наморщит — диким лесом смотрит! Дура, что за ним увязалась. Дуреха... вот что! Зайчонка пожалел, а ее хоть бы раз. Ломтище от краюхи отвалил, а нет, чтоб поделиться. А ведь Аленка есть захотела: с утра ни маковой росинки во рту...

На закрайке болота Кирик разыскал тропу: по ней, миная топь и бурелом, они поднялись обратно в ельник. Здесь Кирик оставил Аленку: сиди, если ногу досадила.

Срывая кислые ягоды черники и то и дело прислушиваясь, он далеко отошел от дороги, и тут до слуха донесся истощный вопль:

— Оеньки! Спасите... Оеньки!

Кирик, не разбирая пути, кинулся обратно. Веткой сорвало с него кепку, оцарапало щеку...

— Сейчас я... — И нашупывал ножик в кармане, искал глазами палку поувесистее. Кто там ее? Не медведь ли? Медведь, так удрал, поди. Эк, кричит, ровно режут!

Лесная поляна в черничнике на моховых кочках...

— Алена-а! Ого-ого-го! — сложил он рупором ладони.

— Здесь я, — раздался откуда-то сверху тоненький голосок.

Перепуганная Алена сидела на толстом еловом суку. Прижалась к елке, ноги под подол спрятала, и глазища таращит, губы сложены подковкой.

— Леший тебя занес, да? — Кирик вытер рукавом со лба пот и налипшую паутину. — Слезай давай! Ну?

— Не-е... Страшно-о... — У Алени нос распух. Трясется, зуб на зуб не попадает. — Красавушку-то нашу звери лютые задрали-и... Одни косточки оставили...

— Где? — Кирик изменился в лице.

— Вона-а... — Алена дрожала и всхлипывала.

Какой-то сруб, что ли? Откуда ему взяться, срубу-то? Кирик подошел неверными, заплетающимися шагами к этому старому, замшелому сооружению. На дне сруба полно позеленевших от времени костей. У страха глаза велики — это же ловушка! В сруб охотники сваливали разную падаль для приманки медведей и ставили капканы.

— Слезай! — Вернулся он к елке. — Кому говорят? Что, так и будешь на елке торчать, рева?

— Я рева, да? — У Алени слезы по щекам в два ручья. — А чьи тогда кости там?

— Я почем знаю! «Спасайте... оеньки!» Где невпроворот бойкая, а тут охотничьей ловушки испугалась.

Кирик пальцем зажал ноздрю, высыпался. Поправил ремень на пиджаке и выхлопал о колено кепку. Не торопился, — пусть Алена очухается.

— Да-а... Я без памяти сюда... Я хотела как лучше, — Алена всхлипывала. — Дай, думаю, заверну сюда, нет ли где Красавки, эту страсть и увидела. Помоги, Кирия, мне без тебя не слезть.

— Помоги... Залетела птица-синица! Лес ведь, не что такое, чего тут бояться-то?

Кирик подставил плечо, помог ей спуститься.

— Да-а... — одергивала Алена сарафан. — А медведи-то? Тебе что, ты ведь старше. Ты в седьмой класс пойдешь, а я только в пятый...

Кирик покусывал кислую травинку.

Что-то теперь там, на стану пастухов? Доярок, наверное, привезли. Брызжет струями молоко в ведра. Шарик сидит у костра, а когда нанесет дымом, трет лапами глаза и взвизгивает. Васютка читает газету: фигура он или нет для животноводства? А может, ссорится с Наумом Назарычем? Ветеринар как ни зайдет к пастухам, все пристает, что у Васютки усы растут. Васютка притворяется, будто ему безразлично, что плетут на его счет. А после ветеринара он подолгу разглядывает себя в осколок зеркала:

— Чудит он, Наум Стожарыч, — нет, никаких усов и стоят не будет.

Ветеринар — длинный, тощий, впрямь как стожар, суковатый кол, вокруг которого мечут в стога на пожнях сено.

А если... если у доярок только и разговоров, как о нем, о Кирике? Доверили-де скот малолеткам, а они на разу его растеряли! Зря, выходит, при разговоре с председателем он вызвался найти Красавку. Сказал, что не надо людей от работы отрывать, сам справится. Сам... один... Не за это ли ругает мама, что он для всякой щели гвоздь?

— Знаешь, Алена, ты, побудь здесь, ягодок пособирай...

— Ягодок? — Слезы на щеках Аленки мгновенно просохли. — Ну, Кирия... Кирия ты, Кирия! Бросаешь? Ага?

— Красавку-то, Алена, искать надо. С зубов кожу содрать, а найти...

Кирик двигал бровями. Повесил голову, и не видит, что рубаха выбилась из штанов — сзади эвон, как свиное ухо.

Аленка сама не ожидала, что у нее вырвется:

— Ступай, я не забоюсь.

Иначе и нельзя: так Кирия водил бровями, повесив голову.

— Ты не долго, ага?

— Я тебе после гнездо медуниц показу, — Кирик переминался с ноги на ногу. — Мед — язык проглотишь! Богатое гнездо, не обманываю.

Он ушел. Будто с собой унес и шорох сапог по сучьям, и бренчанье дужки ведра. Оставил Аленку наедине с лесными звуками: шуршаньем муравьиных лапок, шумом ветра в хвое. И сразу ей стало боязно. Она прислонилась к шершавому стволу лиственницы, сжалась — глаза круглые-круглые. Дышать не смела. Тихонько посапывала носом.

Тени густели. Были тени — сделались сумерки. День-то прошел! Остро нанесло чем-то душистым, пахучим. Не папоротник ли цветет? Зрачки у Алёнки расширились: ой, боязно... Ой, что будет-то, коли папоротник! Сердце в пятках — тук да тук. Хорошо, что увидела этот духмяный цветок: венчики белые, будто фарфоровые, листья как залакированы, плотные, блестящие. Хотела она сорвать цветок, но голова безвольно опустилась на вытянутую руку.

Было себя жалко: ноги оцарапаны, осокой порезаны в кровь. Фартук о сучок просадила — эва, дыра-то, кулак влезет! Жалко, жалко.

Ищут ее, наверно, по всему селу: куда пропала секретарша?

А она вон — тутотки, под лесиной... Одна-одинехонька...

У папы опять, поди, представители. Начальство из района либо из области. Мама самовар на стол поставила, поет он, ровно комарик. В чистом полотенце опущены, в самоваре варятся яички. Мама луку с гряд наципала: они, представители, до луковой травы охочие. А Таисья-сторожиха послана под окна: «На собранье, мужики! Бабы, после коров подоите!»

Не забудут представители угостить Алёнку конфетами: шоколадными «Кара-Кум» — из портфелей, «золотым ключиком» и «раковой шейкой» — из полевых сумок.

«Зря балуете», — говорит папа, но все равно доволен ею, раз Алёнка ведет себя как надо. К столу не подойдет, будто стесняется. Сидит за заборкой, книжка на коленях. Будто читает. Небось словечка не пропустит из разговоров. И оттого ей все известно, что где по району делается.

— А Киря что видит? — Алёнка его пожалела. — Пастух, одни коровы перед глазами. Ужо-ка теплых пирогов ему отнесу после. Мама напечет. С картофельной подливой, подовых. Возьму и отнесу. В полотенце, чтобы не остывли.

Напытуются представители чаю, уйдут в клуб. Называется: «посоветоваться с народом». Собрание непременно, если представители. Без них никакого продвижения дел не было бы. Они дают «установку»: какие работы проводить в колхозе. Трибуна в клубе фанерная. На нее пошла тара из сельпо. Ящики из-под печенья. Покрашена трибуна, однако проступает «Пече...» сквозь слой охры. В прениях выступают с трибуны: «Горя желанием досрочно перевыполнить...» Что вы, народ пошел грамотный, как папа говорит.

Аленка не приметила, как ресницы слиплись у ней, сон сморил...

— Полно, разоспишься, тяжелей будет, — разбудил ее шепот.

Не сразу сообразила, где она. Озябла. Во рту слюнка. Царапины как огнем палило.

— Я стоял, стоял. Не будил все, а ты спиши и спиши.

Голос у Кири веселый: нашлась Красавка-потеряшка.

— Не удерет она больше?

— Ну-у... ей и привязи не надо!

А темень, темень-то — хоть глаз коли. Кирик взял Аленку за руку, как маленькую. Повел в самые-то потемки, и она сказала: «Оеньки, в яму провалимся! Кирия, куда ты тащишь?» Но скоро показался огонек.

Костер. У елки. Жмется под ее опущенные лапы корова: один глаз горит, второй в тени темно отсвечивает. Под боком у коровы...

— Телушка! Хорошенькая-то... Хвостиком-то помахивает, махонькая!

— Эге, бери выше. У кого-нибудь и телушка, зато у Красавки-холмогорки высокопородистое племенное ядро. Первый класс... о!

Кирик завалил костер сучьями. Хлынула от елок со всего лесу темень, сомкнулась, только рдел в траву стрельнувший уголек. Небо засветлевло, поднялось выше. Стала видна вершина корявой осины с трепещущим на самой макушке черным листом. Но сучья занялись, костер вздохнул и загудел, рассеивая искры. Уголек погас, как пеплом его подернуло; листва на осине слились в черное облако, и небо почернело, снизилось.

— Славненькая... хорошеньевская! — А Красавка девочку не подпустила, загородила телушку своим округлым боком. Ревниво мычала.

— Первый класс... Ядро. Уй!.. — Аленка улыбнулась. Присела к костру на корточки, протянула руки.

«Поят их или не поят первые-то сутки? Фу-ты, из головы вон, не помню!» — Кирик сунул руки в карманы пиджака, расставил ноги. Лоб озабоченно наморщен.

— Ну? — задергал он на Аленку бровями. — Чего у огнища растопырилась-то? Не знаешь, что делать?

— Кирия!

У Аленки ресницы взмахнули, как бабочки крыльями.

В белом переднике, нарядном сарафанчике, с длинной и толстой своей косой она показалась Кирику столь чужой этому костру, этому лесу, что он задышал в нос:

— В кого и растут неумехи, ничего им по хозяйству не далось...

— Киря! — Аленка вскочила и ногой притопнула. — Киря!

Увязалась за ним, вдвоем в лесу/ все веселее, посулилась ему горячего пирога принести, а он вон как ее оценил: «Не-умеха»!

— Киря... На таковскую напал, Киря?

— Заводись с полоборота-то! Заводись у меня... — Кирик дергал бровями. — Бери ведро-то да обряди корову-то.

— «То», «то»! — Аленка язык ему показала. — Затокал... Подумаешь, и обряжу.

Красавка не подпустила. Прижала уши, да как залепит копытом по ведру: забрякало, покатилось в костер. Не отскочи Аленка, и ей досталось бы.

Держит Киря в карманах руки, будто так и надо, чтобы корова лягала ровно лошадь.

Губы у Аленки подковкой, нижняя губенка заприщепывала.

— Ты... ты... — потянулась опасливо рукой. Умру на месте, Киря, не уступлю ни в жизнь! Тянулась Аленка к Красавке. — Ты... ты! Как стоишь?

Та развернулась: Аленка оказалась аккурат напротив ее знаменитых рогов. По-быччи нагнув шею, тряслась Красавка подгрудником, нахлестывала по бокам хвостом. От хвоста и теленку попадало.

— Забодает! — У Аленки глаза стали круглые, поджилки тряслись.

— Ничего удивительного, — спокойно ломал Киря на колене сучья. Руки из карманов вынул, и то ладно. — Красавка с характером. С изюминкой, как дед Данила говорит. Норову у ней на сто пеструх, на то и порода. Чужих к себе не подпустит — это уж фактически, как дед Данила говорит. Хлеб... ломоть-то где? Скорми-ей, на то и бран.

Хлеб Красавка приняла. Треснуть бы ее промеж рогов, чтобы «изюминка» взяла да вылетела! Но как бы чего худого не вышло.

— Миленькая, ласковая,—приговаривала Аленка, с опаской нащупывая вымя.

Соски были тугие, как резина, и шершавые. Красавка стригла ушами. Закусив губу, Аленка зажмурилась — будь что будет — и потянула за сосок. Ого, удача! Молоко, правда, брызнуло не в ведро, мимо — прямо в лицо Аленке, но это мелочь, стоит ли обращать внимание. Аленка приободрилась. Даивала она свою корову. Когда мама на работе задерживалась. Хвост вот только. Почему коров без хвостов не бывает? Красавка жучила себя по бокам, хлестнула Аленку по спине, потом умудрилась жесткую густую кисть сунуть ей под нос.

— Киря, — заныла Аленка, забыв, что не собиралась ему уступить. — А, Киря?

— Ну?

— Сделай одолжение, подержи ей хвост. Пожалуйста.

— Хватит издеваться! Хвост ей помешал!

Взял у нее ведро. Поднес к свету.

— У-у... инфузории плавают. Ты вымя мыла, нет?

Заставил обмыть молоком, обтереть вымя передником. Пропал передник — от молока отмой его, попробуй, пятна останутся! Аленка — губы подковкой, подбородок сморщился — снова засела за дойку. Ну, Киря, погоди, Киря!

Потом поили телочку. Силой морду ей Кирик совал в ведро. Телушка упиралась, боронила копытами и поджимала хвостик. За хвостик она пуще всего боялась, и прятала его, поджимала. В ведре она пускала пузыри, и все, бэльше ничего. Еще захлебнется дурочка, того и гляди.

— Вкусное тут... ну? — Кирик ткнул пальцем в молоко. Поболтал и палец сунул себе в рот, обсосал, причмокивая. — Ешь... ну! Вкусно! Млекопитающее ты, поняла? Поняла?

Телушка мычала хрипло и прятала дрожащий хвостик.

— Первый класс называется, — отчаялся Кирик. — Я бы за это время бидон молока выдул, а она и не нюхает даже.

— Бидон! Нашел чем хвастаться, — сказала Аленка.

— Ожила? — оглянулся на нее Кирик. — Ну, ну... А твой номер не восемь? Восемь — и ожидай, когда спросят.

— Так ты, Киря? Так?

Аленка вырвала у него ведро, молоко выплеснулось.

— Ожила! — засмеялся Кирик. — Ну, ну... Возьмись, напои ее. Без соски-то. Их на ферме из сосок поят, покуда маленькие. Согласно методу... во!

— Тебе бы соску. «Ну», «ну»... нукало!

У телушки Аленка почесала за ушами.

— Кушать хочешь, зернышко? Ой, ты, крупиночка моя маленькая. Славная ты моя. Я тебе салфеточку сейчас подвяжу, кушать сейчас будем, — ворковала Аленка, снимая с себя передник. — А то ведь ты, маленькая, молочком обрызгаешься. Да брось ты сарафан, не жуй, глупенькая.

— Салфеточку? Кукла она тебе, что ли? — Кирик порывался встать и дергал бровями.

— Не подходи лучше. Без тебя обойдемся. Киря, ты, Киря... Погоди, Киря!

Она умокнула палец в ведерко и дала телочке облизать. Телочка беспокойно переступила копытами: какая-то капелька молока попала ей в рот. Не отбирая пальца, девочка легонько сунула ее мордочку в ведро. Разобрав вкус молока, телка начала пить торопливо, взахлеб, вся напружинясь.

— Да не жадничай ты, — строжила Аленка. Хвостик утешочки крутился пропеллером, и Аленка погладила ее. — Умница!

Телочка мало-помалу насытилась. Где стояла, тут и улеглась, подобрав под себя ноги. С губ тянулась липкая струйка, Аленка вытерла — так у ребят-малышей подтирают под носом. Вот и все — обрядилась! Получил, Киря?

— А поить с пальца, я в книжке читал, негигиенично, — нерешительно проговорил Кирик. — Думаешь, я бы не напоил? Да в два счета.

Аленка ресниц на него не подняла. Задирала повыше нос, и все. Сушила у костра передник. От него валил тонкий парок.

Кирик заерзал на месте:

— Слова поперек ей не скажи, сразу и губы на локоть!

Трещал костер. Влажный и прохладный ветерок поколебал космы пламени; из тьмы прыгнули лохматые тени и вновь прилегли у подножия елок.

У-у-у! — донесся далекий гудок. Аленка оглянулась.

— Пассажирский. На Котлас, — перехватил Кирик ее взгляд. — Точно по расписанию. Мы с Васютой, когда белые ночи были, бегали на Двину встречать пароход и купаться. Бода теплая, волны от парохода... качает! Ты не пробовала?

Аленка молчала, как немая. Подумаешь, надулась, слова ей поперек не скажи. Кирик взялся собирать хворост. Принес охапку. Гляди, и Аленка приволокла откуда-то гнилую колодину, навалила на костер. Кирик хмыкнул и — обратно в лес. Вернулся с тяжелющей валежиной на плече. Аленка в

долгу не осталась: на костре занимались принесенные ею сучья.

— Этак мы лес скоро запалим... — Кирик и в затылке поскреб. — Дела-а... Как сажа бела! Ишь, против шерсти я ее погладил, да? А меня как гладят?

Аленка, ни слова не говоря, свернулась калачиком возле телки. Обняла ее за шею:

— Спи, маленькая, спи...

Кирик прибрал себе пень: у костра он скоротает ночь. Лес, мало ли что, надо подежурить. «Надо... — рассеянно стругал он прутик ножиком. — Надо, чтобы всегда с' кого-то был спрос. Лучше, ежели с себя, — это спокойнее. Корова потерялась: кто за старшего, с кого спрос и ответ? Потерялась — найди. Лес, болота, следа нет... Если пропала корова, надо найти — очень это просто».

Он вспомнил, как шел улицей и думалось, что из окон на него смотрят: «Большой у Дарьи парень!» Кирик подергал бровями и так нажал на нож, лезвие в дереве застряло.

— Сломаю еще...

Покосился исподлобья назад: не слышит ли Аленка? Спит. Прижалась к телушке, и спит. На щеке тени от ресниц. Перебирает Аленка босыми ногами. Ну, да, комарье, беспокойно.

А она — ничего. Другая бы на ее месте... У-у, сто раз бы попросилась домой! Через костер ее посмотрел — эта не подведет. Ну, конечно, не без характера тоже! А ничего... Не умеет, а корову доила, и старанье-то ведь дороже всего. Аленка старалась. Губенку сковородником держала. Еще бы, сказал ей: «Неумеха!» Губенка сковородником, но корову худо-бедно подоила, теленка напоила.

Кирик, ступая осторожно, подошел, снял пиджак и укрыл босые ее ноги.

А зевается, в сон клонит...

И темно-то до чего! Сверху бы, поди, поглядеть: костер будто на самом донышке, а лесу и глубины не найти, не измерить.

Аленка перевернулась на бочок:

— Спи, маленькая...

Сердце у телушки тук-тук. Маленькое сердчишко.

Вдвоем им было тепло, ресницы сами собою смыкались. Но Аленка открыла глаза: ей почудилось, будто кто-то смотрит на нее с затаенной лаской. Да нет же никого. Аленка глаза

протерла. И увидела высоко-высоко над собой звездочку. Лу-  
чистая, как росинка, она истекала синим светом.

— Кирия, да ведь мы телушку-то не назвали!

— Правда!

— Иди сюда! — вскочила Аленка. Запрокинула вверх го-  
лову.

Черные вершины деревьев мягко пропадают на зеленова-  
то-синем небе: бездонна, странно пуста его глубина... Непо-  
движно застыли серебристые облака... Одинокая светит звез-  
dochka...

Птица налетела на огонь костра, взмыла над поляной вся  
розовая в отблесках пламени и, бесшумно махая крыльями,  
пропала за деревьями и там закричала тоскливо, точно за-  
плакала.

— Ой! — испуганно прижалась Аленка к Кирику.

— Звездочка! — он закружил ее. — Мне бы нипочем так  
не придумать!

Телка моргала, тупо уставившись на ребят. Красавка  
шумно жевала жвачку.

— Кирия, а как ты ее нашел?

Строптивая Красавка, оказывается, ни за что не отзыва-  
лась, хотя он сколько раз мимо ее проходил.

— В двух шагах! Вот эдак... — округлив глаза, Кирик  
показал, как он шел в десятый раз мимо Красавки. — А что,  
думаю, если боталом побрякать? Не откликнется ли наша хол-  
могорка? Подумает рядом стадо пасется и голос подаст. На-  
чал я боталом называнивать. И что бы ты, Аленка, думала?  
Звездочка замычала!

— Вот умница, — сказала Аленка. — Сразу видно: пер-  
вый класс.

И опять тихо под старой елью, шатром ощетиненных сучь-  
ев нависшей над костром.

— Кирия? — сонным голосом позвала Аленка. — Слы-  
шишь? А твой отец с моим на фронте переписывались, пото-  
му что дружили. Очень дружили, когда еще твой отец был  
председателем колхоза, а мой — просто бригадиром.

— Дружили...

Кирик носком сапога огрудил головни в костре.

Эх, дородно было бы, не посули Петр Иванович премию!  
Васюта говорил: не ходи в контору, найдем, потом скажем,  
что терялась корова. А нашли, взятки с нас гладки.

Красавка нашлась с теленком. Быть бы сердцу на месте, душе на сердце, но премия... Что, из расчета он, Кирик, старался? Да ничего, дают — бери. Хорошо бы футбольный мяч сменить: старый вовсе никуда, истрепали с Васютой за лето. Обещал Васюте принести дратвы: залатали бы покрышку. Экая память, о дратве-то сейчас вспомнил. Ну, где раньше-то ум был?

Мама, если что не по ней, укоряет: оба вы с отцом с одной колодки. Ну да... Кирик поднял палочку, достал нож из кармана. Куда там, папа ничего не забывал. Для товарища на все был готов. Папа ведь... Папа, он всегда вызывался. На фронте то же самое. Вызывался подорвать дот, как писали после его товарищи. Дот с пулеметом. Подорвать-то подорвал дот, и не уберегся сам.

Кирик поискал в небе звездочку. Та или не та? Темень, ночь — хоть глаз коли. Высыпало звезд. Звезды, звезды — как насеяно их...

Когда под утро пришли зоотехник Наум Назарович и доярки, они застали Кирика на пне: сидя спит. Умаялся, сморило. Спит Аленка под пиджаком. В кустах пасется Красавка. Под боком у нее чернопестрый, с белой залысиной на лбу теленок с боталом на шее.

Гремело, пело ботало в утренней тиши...

---



### БАБКИНЫ УТЯТА

Он ворвался вихрем. Майка выбилась из трусов. Волосы дыбом.

— Зубная щетка и револьвер — вот все, что нам понадобится!

Час от часу не легче! Я отложил газету. Голые коленки в ссадинах, оцарапанный нос, сивый шиш на макушке и потеки пота на шее, — состоять при таком Шерлоке Холмсе, этого мне еще и не хватало.

— Пляшущие человечки на собачьей будке? Гусь, заглотивший пятиалтынный на мороженое? — не много я помню из подвигов знаменитого сыщика, но Валерка и тем удовлетворился.

Он упал в кресло-качалку и заболтал босыми ногами. Пяtkи грязней картофелины, и я поморщился: нагорит от хозяйки за натоптанный пол.

— Доктор Уотсон! — В горле у Валерки пискнуло от воссторга. — Не гусь, доктор Уотсон. Утки бабки Пелагеи, в них заключена роковая тайна.

Бабка Пелагея?

Я что-то не горю желанием с ней зваться...

Когда бабка торгует на базаре овощами со своего огорода, яйцами или козьим молоком, то ее пронзительные крики с лихвой перекрывают рыночный шум и гам, всякое там кудахтанье и поросичьи визги: «У Палаши продукт не свежий? Да чтоб я белого свету не взвидела! Да чтоб меня приподняло и не опустило! Андели, ты на зуб пробуй. Пробуй... пробуй! Яички-то ш-шупай. Тепленькие, токо из-под курочки! Гляди, редисочка — одна к одной. Сахар, не редисочка. С ней токо чай-кофий пить. Са-ахарная! С моей редисочкой — кофий!»

Вздорная, шумная старуха. Прилипнет — как смола. Не надо, да купишь у нее, лишь бы отвязалась.

Перекапывает ли Пелагея гряды на усадьбе, гонит ли пасты коз, — знает вся улица Гончарная.

— Ксыг, ксы-и-и, — ранехонько заливается умильными воплями старуха и метет пыль подолом сарафана, сопровождая Маньку с Танькой с бубенчиками на шеях и дряхлого трясуна, козла Бориса. — Ксы, ксы, кормильцы-поильцы.

Голос у нее — будильника не надо. Мертвого подымет. Из себя же она сухонькая, худенькая, точь-в-точь, как ее козы. Просмоленное солнцем личико бурое, изрезано морщинами. На затылке пучок седых волос, похожий на луковку.

В характере Пелагеи входить в мелочи, соваться куда ее не просят, и давать резоны. Там — продавцу, выкатившему бочку забродившей капусты на улицу: «Чо-о, кромешник, вонь на всю улицу распустил и ухмыляешься?» Там — малярам на крыше: «Чо-о, чо, безрукие вы? Промазней-то — с первого дождика кровлю ржавой проточит. Бессовестные!»

Раз увидела меня во дворе и привязалась:

— И-и, в белых штанах, а невеселый. Ай, скучно?

— Так, разное, — замялся я.

— Скучно, от безделья как не скучно! Шел бы ты, ангел, в белых-то штанах на пожню. Одни бабы на оводах там маются. Эвон туча собралась, замочит сено, чистый убыток. Ступай, ангел, пособи: все мы хлебушек едим, да с маслицем нам подай. Да-а... бударбродом! Да-а... бударбродом! С маслицем!

Барабанила бабка на всю улицу. Прохожие оглядывались, строили на мой счет усмешечки, и я не чаял, как от нее избавиться: что она, в самом деле, пристала, шла бы своей дорожкой.

А в общем... В общем-то, я вырос в деревне.

Но забыл, как ворошат и сгребают сено. И стога мне не сметать, коня не запрячь в телегу — не умею, забыл.

Наконец я в отпуске. Я же дачник.

День пропажи утят Пелагеи с пруда отмечался небывающим переполохом на Гончарной. Заходились лаем собаки, высыпал на улицу стар и мал, точно при пожаре или ином стихийном бедствии. Бабка, растрепанная, в неизменном сарафане и кирзовых сапогах, бегала со двора во двор и причитала:

— Ути-ути-ути! Крупиночки мои, махонькие, где вы? Ути-ути, отзовитесь!

Широченные голенища сапог хлестали по тощим икрам, старуха в слезах била по сарафану ладонями, истощно голосила, и за ней вереницей носились ребятишки и передразнивали:

— Ути-ути!

Из-за каких-то несчастных утят учинить подобный шум, — что за бабка! Ручаюсь, второй такой не то что на Гончарной, в целом городке нет.

Он уютен и тих, городок, тем и привлекателен. В летние месяцы здесь скопляется приезжих дачников и отпускников числом не менее коренных жителей.

Старинный парк — тополя не в обхват, липы купают в немятой траве кружевные тени, цветущий шиповник зазывает пчел. Домики изукрашены деревянной резьбой. Древний собор на площади — его купола точно воинские шлемы вздываются к облакам. У белой колокольни вьются стрижи. На проводах — щебет ласточек...

Если бы все вывески здесь и не начинались с «рай»: «райбилиотека», «райсад», «раймаг», «райпромкомбинат», — то и тогда не нуждалось бы в доказательствах, что зеленый городок наш, городок маленьких домиков и высоких деревьев, — сущий рай, отпускнику лучшего для отдыха и желать нечего.

Река рядом. Рядом сосновые боры, где запахи смолы, хвои и благоуханье спелой земляники, где любой куст можжевельника одарит рыжиками, белыми грибами, а с песчаных доро-

жек, грохоча крыльями, взлетают глухаринные выводки — с разбегу, словно со стартовой полосы.

Синими сумерками городок затопляют поверх глав собора флейтовые переливы дроздов, в райсаду дергает на одной ноте бессонный коростель. Где-то окно растворено, катятся из него аккорды рояля — в туманные луга, в синие потемки окрестных лесов...

Сотрудник одного научно-исследовательского института Василий Владимирович и врач Ирина Викторовна, папа и мама Валеры — мои соседи. Сперва мы раскланивались по-соседски, незаметно подружились и за одним столом коротаем вечера. Сидеть у самовара, вынесенного в садовую беседку, где мягко, о чем-то своем, потаенном шепчутся деревья, в щели замшелой кровли заглядывают крупные, истекающие голубым светом звезды, пахнет росой на крапиве, где-то поблизости в полях, повитых туманом, полных хлебного духа цветущей ржи, негромко и томно выкликает перепел: «подъ-полоть, подъ-полоть», — право, славно! За разноглазым семафором остались заботы и треволненья, служба и ее обязанности, а здесь — пофыркивает самовар, течет непрятзательная беседа, перескакивая с тайн космоса на стихи и музыку, с кибернетики на «а молоко на рынке нынче почем?» Есть, есть в этом своя прелесть. И не раз за вечер у нас вырывалось: «А что мы нашли бы в Сочах?» Заметьте: не в Сочи, а пренебрежительно — в Сочах. И радовались, что не поехали куда-нибудь на юг, в жаркую и душную толчею, в тесноту курортов с их переполненными пляжами, с очередями у железнодорожных касс, и проводим отпуска в милом и зеленом городке.

С Василием Владимировичем, как выяснилось позднее, мы земляки, и это нас того теснее сблизило.

— Помнишь, как верхнюю одежду называли? — пускался он в воспоминания о деревенском детстве.

— «Оболочка»! А полотенце как — помнишь?

— «Рукотерник»! Веревка — «ужище»... — Василий Владимирович счастливо смеялся.— Ужище! Не правда ли, емкий и красочный язык: что ни слово, то и поэтическая метафора. Мы же стыдимся его, брезгаем. «Оболочка» — отсюда и «облако», и древнее, книжное: «облеки мя крепостию своей». Звучит ведь, а? Оболочка — одежда твоя, пиджак там или азям из сукманины, домотканого сукна. Облака же — одеяние неба... А что мы умели вот в том возрасте, как у нашего

Валерки? Боронить и косить, водить коней в ночное, пасти скот... Да все, что по силам!

— А что имели? — усмехалась Ирина Викторовна. — Забыли, что деревня в прошлом, совсем недавнем, — копоть лу-чины, грязь. Бань не было — в печах мылись!

— Преувеличиваешь, — без нужды протирал очки Василий Владимирович. — Бани были. По крайней мере, в нашей стороне.

— Я понимаю, неспроста ты распелся об «ужищах» и «ру-котерниках»! — нервно хрустела пальцами Ирина Васильевна. — Дай тебе волю, ты бы нас с Валерой запер в деревне. Нет, не преувеличиваю! Как же, он, видите ли, прошел суровую школу жизни, с холщовой сумкой бегал в училище... И сын его должен, прямо-таки обязан повторить то, что его папой пройдено. О, наш папа устроил бы для единственного ребенка прекрасные каникулы: «Оболокись, Валерчик, засу-понься ужищем, ступай назём возить»... «Ничтожной» мело-чи папа не учитывает: невозможно повторить неповторимое. Невозможно... вот так!

И другим — обычным ровным тоном — обращалась ко мне:

— Вам со сливками?

— Благодарю, просто подгорячите, — подвигал я стакан. Василий Владимирович конфузливо помаргивал.

— Однако пора же, мама, приучать мальчика к само-стоятельности. Тепличное воспитание, доведет ли оно до добра?

Он сникнал и побалтывал в стакане ложечкой.

— Самостоятельность! — вспыхивала Ирина Викторовна. — И до какой же степени! Скроется мальчик из дома, до ночи его нет. Переживай: где он? Что с ним? Утонул? Под машину попал? Он нас ни во что не ставит... вот, вот плоды самостоятельности! Ему дороже мнение мальчишек: что скажут, если не погоняет лишний час этот футбол! Из воды не вылезают. Жгут костры, греются и... И купаются! Кончается тем, что Валерик схватит бронхит. Ему руки-ноги переломают на матчах! И все — папа, его влияние! И это — тепличное воспитание? Ну, знаете ли...

Перемены с Валерой и точно разительны. В городе были у него, кроме обычной школы, музыкальная, уроки английского языка частным образом. «Мальчик в берете», — про себя я называю их, ребят с папками нот, спешащих по вечерним улицам.

Единственный ребенок в обеспеченной семье, Валера, я уверен, ни в чем не знал отказа. Пожалуй, это естественно: у Валеры выдающиеся способности. Он действительно одаренный, не скажешь, что Валерка зубрила, берет он способностями, все схватывает на лету. Валера — победитель математической олимпиады, решал задачи, которые впору старшеклассникам.

А ему и тринадцати нет, удивительно ли, что ему прочат большое будущее.

Представить Валеру в городе иначе, чем с артистически цвяязанным бантом на белой рубашке, в оттуюженных брюках, шаркающего ножкой, до недавнего времени, я не сумел бы. Когда мы знакомились, он, точно, шаркнул ножкой, я бант на нем был, и Ирина Викторовна заливалась горделивым румянцем, наблюдая, какое впечатление производит воспитанность сына.

Прошла на даче неделя-другая — сполз с Валерки бывой лоск.

Бант куда-то подевался. Вместе с брюками со стрелкой, со светскими манерами, какими должен выделяться, по мнению его мамы, интеллигентный мальчик. Какие там брючки: майка да трусы, нос в царапинах и негритянский загар!

И Валерка — не Валерка, а знаменитый сыщик Шерлок Холмс, и я — не я, а, позвольте представиться, доктор Уотсон!

В последнем превращении, впрочем, я повинен наравне с ненастной погодой, задержавшей Валерку в четырех стенах. Я порекомендовал заняться чтением: день, проведенный без книги, потерян для жизни. Остановились на Конан-Дойле. Ирину Викторовну подкупило предисловие Корнея Чуковского: «Шерлок Холмс — чуть ли не единственный из персонажей детской мировой литературы, главное занятие которого — мышление, логика... Его мыслительная работа демонстрируется как основной его подвиг».

Само собой подразумевалось, у Валеры есть ум: ему же профессора прочат будущее!

Что есть, то и надо развивать. На каникулах хотя бы и при посредстве Шерлока Холмса.

Тем не менее состоять спутником при этом шелушащемся розовом носе, при царапинах и синяках... Не ожидал, что все так для меня обернется!

Пруд на задворках дома бабки Пелагеи — как пруд. Зеленый от ряски у берегов. Обширный, годами не чищенный. Никакой в нем живности. Караваны, говорят, водились. Водились, да повывелись. И лягушек мы не выпугнули из травы. Лишь клопы-водомерки скользили на проволочных растопыренных лапках.

Странные существа, — я невольно задержал на них взгляд.

У тех, кто скользит по поверхности, выходит, есть свои преимущества: они не тонут...

Пруд примыкал к приусадебным участкам и огороженному, со стогами сена, лугу. Узким заливом, скрытым осокой и камышом, вдавался пруд за ограду городского сада.

Изгородь плотная, забрана хворостом. По низу ограды пущена металлическая сетка.

Заборы. Плакучие ивы...

Деться отсюда утятам некуда.

— Их унес ястреб, — сказал я Валерке.

Следов, помимо утиных, и он не обнаружил, использавши берега на коленках с лупой в руке и перепачкавшись в тине, в иле с головы до пят. Лупа в данной операции и ни к чему бы, однако... Помилуйте, что за Шерлок Холмс без лупы!

— Ястреб? Сразу двух?

Валерка хмыкнул. Он насмешливо сощурился. Глаза у него прозрачные. Мальчишка не без самомнения.

Все-таки он прав. Я не сообразил: обоих утят за один налет стащить ястребу не удалось бы. Пелагея возилась на грядах и услыхала бы тревогу, поднятую старой уткой.

В самом деле, утюта пропали бесследно и таинственно.

— Это наносит удар моему самолюбию! — Валерка прислонился спиной к шершавому стволу ивы и скрестил босые ноги.

В полуденном зное цепенел городок. Было душно и, после недавних дождей, паровито. Ни переклички петухов по дворам, ни шагов прохожих по улице.

— За мной, Валера, мороженое.

— Я думаю! — недовольно двинул он плечом.

Ишь ты, как его забрало. Ладно, думай. Я обмахивался носовым платком. Эх и жарища! И это подвиг, что Валерка на пруду, вместо того чтобы в компании зареченских сорван-

цов купаться на реке. Забрало, не до мороженого знаменитому Шерлоку Холмсу, нё до реки.

— Мы имеем дело с изощренным и коварным противником, — вдруг изрек Валерка. — Мы явились как раз вовремя, чтобы предотвратить новое ужасное и утонченное преступление, доктор Уотсон.

— А-а, — приподнял я брови. — Ужасное? Утонченное?

— Надеюсь, вы заметили двухмачтовый бриг?

Я покосился за изгородь. Возле дренажной канавы, пересекшей луг, валяется на боку пощелявшая лодка в заплах на бортах.

— Не находит ли доктор Уотсон, — напыщенно продолжал Валерка и глаза у него смеялись, он готов был колесом пройтись, — не находит ли доктор Уотсон, что этому бригу были бы более приличны океанская глубина под килем и веселый роджерс — пиратский флаг с черепом и скрещенными костями?

Ребята играли. Воткнули в лодку палки — это мачты, и воображали себя мореплавателями.

— Мальчишки... Простите, сэр, — поправился я. — Я имел в виду, пираты выкрадли сокровище. Вы подаете глубокую мысль.

Валерка вздернул облупленный нос:

— Капитаном брига был я.

И в горле у него пискнуло. Черт возьми, да он смеется надо мной, только и всего.

— Мистер Холмс, — почтительно отступив, я наклонил голову, — есть ли пределы вашим возможностям? Однако в лодке я пока не вижу ключа к разгадке пропажи утят бабки Пелагеи.

— Я вижу то же самое, что и вы, просто делаю другие выводы. Почему бриг на суше? Каким образом он очутился в миле от воды?

Миля не миля, до реки метров все-таки триста.

Весной был сильный разлив. В наводнение на Гончарной люди спасались на чердаках. Лодка же бесхозная, старая. Ее подобрали, кое-как залатали дыры и спустили на воду ребята, — с кем теперь водится Валерка и гоняет футбол. Поплавали на разливе, затем бросили.

Валерка пощипывал себя за мочку уха и суживал прозрачные глаза. В них промелькнула тревога.

— Все? — спросил он, поспешней, чем бы следовало.

— Нечего добавить, — сказал я.

Он пощипывал мочку уха — признак, что Валерка сосредоточен предельно. Так он мучал собственное ухо, когда мы сражались в шахматы. Я тогда проиграл и раз, и два: мат за матом! От кого? От мальчишки с сивым шишом на макушке! Валерка поинтересовался, на сколько ходов вперед я строю комбинации, а когда я ответил, дал мне фору. И... я опять продул ему партию!

— Там, — кивнул он на лодку на лугу, — ключ к тайне.

— Сходим...

— Незачем, и так ясно.

Я посмотрел на его упрямый стриженый затылок: «Об за-клад бьюсь, Шерлок Холмс что-то замышляет. Далась ему по-щелявшая лодка!» У меня было впечатление, что я в этой игре тоже получил фору. А в толк не возьму, при чем лодка, и в чём форы, которую дал мне Валерка. Дал... Дал, об за-клад бьюсь!



Пелагея пряла шерсть. Она отложила прядку и накинулась на Валеру:

— Горюшко-горькое, да где тебя носило, где подкидывало? Чистого места званья на идоле нет. Я тебя, злыдень!... Глаза бы мои тебя не видели!

С ахами и охами старуха поволокла его мыться к колонке.

Я остался в доме. На кухне обширная печь. Печурки для просушки рукавиц. Вдоль стен лавки. Герани на широких подоконниках. В горнице — фикус на полу.

Передний угол увешан фотографиями в рамках. Почетные грамоты под стеклом: некоторые сбережены с довоенных времен. «Благодарности Верховного Главнокомандующего» — ими отмечали солдат частей, отличившихся в ходе больших наступательных операций, и они, по всей видимости, покойного мужа Пелагеи, фронтовика.

Выделяются две фотографии большого размера. На первой — студент в мундире с погончиками, будущий геолог. Со второй улыбалась девушка с букетом ромашек.

Вернулся Валера в одних трусах. Прополоскала его бабка с пяток до чубчика. Он озяб, кожа в пупырышках. Грязную майку Пелагея постирала, повесила во дворе.

Она усадила нас за стол, как ни упирались мы, ссылаясь, что обед ждет дома.

— Чо? Чо-о? — сутилась бабка с ухватами у печи. — Ай, у Пелагеи не как у людей? Осудит меня народ-от, коли вас отпуши. Чо... чо вы! Гостям честь да место!

Шерлок Холмс не преминул бы допросить свидетелей. В конце концов мы пришли узнать о деталях происшествия у самой потерпевшей. Хотя, по-моему, все выеденного яйца не стоит — велик ли ущерб, утятя пропали! У бабки они не последние. Кур держит, коз.

Между тем Валера, по взятой на себя роли, принялся выпытывать: «Где, бабушка, находились вы, когда исчезли утят? На огороде? Ага! — он торжествующе со мной переглянулся. — Мои сведения подтвердились!» «Слышала что-нибудь?» «Ничего. Вот плавала уточка по пруду с выводком, вот закрякала — глядь, двоих из выводка ровно нечистый дух унес».

— А пруд глубокий, бабушка?

— Не купаться ли в окаянном думаешь? Глыбы... и-и, глыбы страшная! Со дна ключи бьют, вода на дне ледяная. Окунешься, судороги заберут. Полно, плохая твоя затея, ай вам, идолы, реки мало?

Пелагея долго бы сокрушалась: ай, ай, худая затея! Но Валера приступил к вопросам, донельзя странным, только руками развести — как раз в духе Шерлока Холмса! «Где были козы в наводнение?» Или вот, как вам это понравится: «Почему в пруду лягушек нет?» Я его подталкивал: перестань! Он не унимался:

— Бабушка, вы к слову упомянули нечистый дух, или в пруду, правда, нечисто?

— И-и, нечисто, андели! — с готовностью подхватила Пелагея. — Случается, заиграет вода, калитку подтопит... Да-а! И почнет кто-то в пруду ворочаться, — сбавила бабка голос до шепота, — почнет пузыри пускать. Пузыри, пузыри: кипит пруд, да и полно. Помутнеет, страшно глянуть. Со дна всяную гниль поднимает, пузыри лопаются. Выносит их, лопаются и лопаются, покуда вода не сбудет. А по одно утро было: полю, на грядах пластаюсь, тут как плеснет в пруду-то! Расклонилась я этак: на середине пруда круги, круги. Кошка по забору шла. Перед погодой, дождь, вишь, ворожила. Кошку-то с забора ровно тебе состегнуло: хвост трубой, мяука-

ёт — и драла, драла вон из калитки! Не-е, не купайся, ми-  
лушки. Нечисто тут, ой, нечисто!

Валера вытягивал шею, облизывая сохнувшие от волнения губы. Глаза его сияли. Дельце наклевывается поинтереснее, чем в «Приключениях Шерлока Холмса». Пруд, в котором кто-то пузыри пускает, нечистый дух, похитивший утят...

— Погибли зареченские ребята! — Валерка бледнел и ерзal на лавке.

Угощала старая нас от души: что есть в печи, все на стол мечи. Должное воздали и супу со щавелем, и тушеной картошке, и компоту.

— Пей, золотой мой, пей, — подливала бабка Валере компоту в стакан. — Фруктов сушеных из Алма-Аты Карбабаев прислал. А грех на мне: я его вовсе не помню.

— Как так? — не удержался я.

— Ии-и, батюшка, много их у меня было. В войну в городке госпиталь был. В школе. Ну, я в школе уборщицей работала, а в госпитале санитаркой. Народу прошло через мои руки, — всех где их упомянуть. Меня, вишь, помнят. К 8 марта открытки получаю. До чего я, молодая-то, была распорядительная, теперь половины во мне против прежнего нет. Раненые говорили: «Двух начальников в госпитале слушаемся беспрекословно: тебя, Пелагея Ефремовна, и товарища подполковника медицинской службы Соломона Евсеевича». А Соломон Евсеевич — всему госпиталю главный врач!

Пелагея Ефремовна залучилась морщинами.

— А еще через моих ребят помнят. Через Сему, через Ленушку. На мужа похоронную в сорок четвертом получила. Они у меня вовсе малые были. В госпитале дежурство за дежурство заходило, работы невпроворот. Сема и Ленушка постоянно возле меня: в пустом доме, вишь, тоскливо. Раненые разные, у кого ведь, батюшка, и рук нет. Сема им письма писал, каракулями-то своими, в тетрадке в косую линейку. А Ленушка песни им в палатах пела, стишкы читала:

Мишка косолапый по лесу идет,  
Шишки собирает, песенки поет..

Обряжу ее в халат: андели, из халата ее и не видно, токо косички торчат!

Она вздохнула и пригорюнилась, подперев щеку сухой морщинистой ладонью.

— Семен у вас геолог? — кивнул я на фотографии на стене.

— Институт кончил! — обрадованно встрепенулась Пелагея Ефремовна. — Козы, батюшка, козы пособили! Подою я их, да с молочком на рынок, на станцию к поезду. Опять Семе к стипендии от мамы добавка! Себе во всем отказывала, детей бы в люди вывести. Степан Трофимович, муж мой, на фронт уходя, с меня слово взял: «Судит судьба, свидимся ли, нет ли, тебе детей поручаю. Честно на ноги поставь». И-и, работник был мой Степа, человек был! Партийный, батюшка, башковитый, не гляди, что печник. Сема в него головой-то... в него! До больших чинов Сема дослужился. Была у него нынче зимой. Чего токо в квартире нет: телевизор, пианино, ковры. Встретили меня хорошо. Семья у него. Внучек-то мой — беленький тоже, как Валера. Очень уважитель но встретили... да-а! Пешком не хаживала, все на троллейбусах ездила, на метро. До чего люди дошли, что под землей-то настроено — ровно сказка! И в квартире у Семы — сказка, сказка! Умом-то своим думаю: хоть бы на кухне мне дали приткнуться, к коврам, к хрустальным я, батюшка, непривычна. Да беда моя, на кухне-то газ! Две очки ночевала. И домой. Газ на кухне-то... газ!

— А Лена? — спросил я.

— У Лены тоже своя семья. Квартира дана с удобствами. На кухне, гляди, опять газ. Газ, батюшка, приткнуться негде.

— Ну да, ну да... — рассеянно кивал я. — Письма хоть получаете?

— Письма? — протяжно воскликнула Пелагея Ефремовна. — Телеграммы, батюшка, к праздникам! Во как... Телеграммы шлют! Из целой улицы только мне одни телеграммы-то!



К недостаткам Шерлока Холмса доктор Уотсон относил его скрытность. Знаменитый сыщик никогда и ни с кем не делился своими планами вплоть до их свершения, чтобы затем поразить окружающих торжеством своего дедуктивного метода.

Эту черту Шерлока Холмса, доставлявшую много неприятностей его помощникам, Валера перенял и умножил.

Искала его мама.

— Валера, — звала Ирина Викторовна с крыльца, — ке-  
фир пьем! Куда ты запропастился, режим нарушаешь.

Выходил папа.

— Валерка, — действовал Василий Владимирович обход-  
ным маневром, — шахматы расставлены!

Солнце клонилось к закату. На деревянном пятаке танц-  
площадки зашаркали подошвы, гремел литаврами духовой ор-  
кестр пожарного депо.

Прогнали стадо с выгона. Мычали коровы, блеяли козы;  
из клубов розовой пыли, оседавшей на шершавых лопухах,  
из топота копыт наносило горечью сомлевших от зноя трав,  
молоком, солнцем. И еще — ромашками. Ромашками с фото-  
графии на стене бабкиной горницы. Горницы в домике у тем-  
ного, глохнувшего в камышах пруда...

Больно, тягостно мне было, и шагал я из угла в угол и  
думал, думал. Вспоминались узловатые, натруженные руки Пе-  
лагеи Ефремовны, пучок седых волос, похожий на луковку,  
и горделивое ее: «Телеграммы шлют к праздникам!» Ну да,  
телеграммы. Телеграммы, они времени не займут, чтобы их  
отправить, и тариф перед праздниками дешевый. А кварти-  
ры тесны, и на кухне — газ, и, конечно же, в домике у пруда  
не приучена одинокая старуха ни к коврам, ни к хрусталиям.

Собственно, а тебе какое дело? Ты на даче, и, значит, ни-  
каких обязанностей. Пей чай в беседке, и никакой ответствен-  
ности, что сено замочит где-то, что на базаре надсаживается  
в криках у кучки редиса и десятка яиц, разложенных на  
платке, суетливая громогласная бабка:

— У Пелагеи продукт несвежий? Ты на зуб-от пробуй!  
Яички-то щупай... щупай: тепленькие, токо из-под курочки!

Валера примчался поздно вечером. С двумя палками на  
плече. Толщиной они в руку, удобнее бы их называть колья-  
ми. Палки существовали изображать удилища, так как  
имели лесы — капроновые веревки со стальными якорьками  
на медных поводках.

Где он достал чудовищные якоря? А на веревках, если па-  
мять не изменяет, во дворе сушилось белье.

Мой друг, как выразился бы доктор Уотсон, наглядно де-  
монстрировал примитивность своих понятий в области рыбал-  
ки: отправиться удить с подобной счастью значило бы стать  
посмешищем перед лицом всего племени рыболовов.

На стол он водрузил бадейку с водой: в ней шевелили плавниками жирные караси.

— Булавка, пробка, ярлычок, и коллекция на Бейкер-стрит пополнится новым небывалым экспонатом. Осталось нанести последний решающий удар.

— Последний? — я с сомнением покачал головой. — Мистер Холмс, первых ваших ударов никто не заметил, а, извольте, — уже и последний.

— Первые — вот, — выразительно постучал он<sup>3</sup> себя по лбу.

Он ликовал. Он заранее упивался победой. Ладно, пусть — играет же. Ладно. Не каждое лыко, что называется, в строку.

— Вы слышали? У бабки еще один утеночек... — в горле Валерки пискнуло. — Лапкой дрыгнуть не успел!

— Что? — Об утятах я как-то забыл: не до них мне было, когда думал о бабке Пелагее.

— А то! А то! Поплескались, поплавали — и с приветом. Не дремлет нечистый дух!

Валерка чуть кресло не опрокинул. Раскачивался в качалке, задирал ноги. Он сиял. Еще немного, я уверен, он пошел бы на радостях по комнате колесом.

— Постой, постой... — Мне сделалось за него неловко. — Ты — рад? Чужому горю?

Валерка бросил кресло-качалку. Его глаза жестко сузились.

— Мои расчеты оправдываются, доктор Уотсон. Я с самого начала из тысячи вариантов выбрал один, единственно верный. Мысль, — постучал он вновь себя по лбу, — логика, доктор Уотсон!

Меня подмывало одернуть Валерку: игра заходит чересчур далеко. «Я... я! Мысль! Логика!» У него загар негритянский и оцарапанный нос, однако явственно промелькнула тень брючек со стрелкой и банта, артистично повязанного на белой накрахмаленной сорочке.

— Мистер Холмс, — я помедлил со значением. — Не пригласить ли вам в помощь вон того джентльмена в пижаме? Я вижу его под акцией у самовара. Его имя, кажется, Лестрейд?

— Кого? — Валерка расхохотался. — Лестрейд? Хорошо сказано.

Я прикусил язык. Не высоко он ставит папу. Василий Владимирович мил и обаятелен, душа-человек. Но, понятно, не

Эйнштейн, не Курчатов. Рядовой научный работник. С неба звезд не хватает.

— Довольно тебе, Валера. Считай, я оговорился.

Лестрейд, известно, был исполнителен, но туповат — не тягаться было ему с Шерлоком Холмсом.

Я поморщился на нелепые громоздкие удочки:

— Китов собираешься удить?

— Акул, доктор Уотсон.

Надо было слышать, с каким пренебрежением Валерка теперь выговаривал: «Доктор Уотсон».

Он подчеркивал собственное превосходство.

Роли определились: Лестрейду не дано постичь глубину замыслов Шерлока Холмса, поскольку туповат; доктору Уотсону, недалекой прозаической личности, суждено только восхищаться после дела хитроумными комбинациями своего гениального друга. Все идет по книге. Идет как по писаному!

— Т-так... — я начал медленно закипать. — Акул?

— Акул, доктор Уотсон.

— Где? — в упор, с нажимом потребовал я, задетый за живое его высокомерием. — Когда? Что еще за «решающий удар»?

Валерка улыбался.

— Сегодня прекрасная погода, доктор Уотсон.

— Перестань наводить тень на плетень! — взорвался я. — Марш домой!

У него лицо вытянулось. Он потускнел. Боком, заплетаясь о половики босыми ногами, отступил к двери.

Ох, эти мне доморошенные гении, мнящие о себе черт знает что!

— Всегда так... — Валера втягивал губы, посапывал носом. — На самом интересном месте...

Я почувствовал укол раскаяния. Ничего же особенного Валерка не позволил. Ну перейграл, ну увлекся... Чего ты хочешь от него, — мальчишка! Приволокся с удочками, строил планы о рыбалке, а я его огородил: «Марш домой!» Так тоже несправедливо. И вообще стоило пощадить его самолюбие.

Отворив дверь, он маялся на пороге.

— Не устраивай сквозняков, — крикнул я. — Шерлок Холмс нашелся... Брысь кефир пить!

— Покойной ночи, — просиял Валерка и, подпрыгнув, застыкал пятками с лестницы.

Я наточил якорьки, заменил медную проволоку поводков более прочной и гибкой — стальной, колья — вполне сносными удилищами. Постепенно приготовления увлекли меня. Предвкушение, как мы засядем где-нибудь у омута, и будет роса, розовый туман, и эти поплавки не раз просигналят о поклевках крупной рыбы, — заставило учащенно и сладко биться сердце. Караси — наживка неплохая, мы вволю поудим.

Мне снилась река — мерцающие ее излуки, провалы омутов, поверху выстланных лаковыми листьями кувшинок. Парус огня, закопченный котелок. Позвякиванье ботал стреноженных коней, плеск рыбы в камышах. И стук росы, и журчанье какого-нибудь родничка и еще какие-тоочные таинственные звуки, источника которых не удастся определить, — может, птица ворохнулась спросонок, может, шмель выпал сонный из цветка?

— Доктор Уотсон! — раздался вдруг шелестящий шепот. Валера тряс мое плечо.

— Вставайте, нельзя терять ни минуты!

Окна проступали в темноте, подсиненные блеклыми тонами ночного неба.

— А, это ты? — помычал я, подавляя зевоту. — Так рано?

Сливаясь с теменем, черными облаками застыли над крышами кроны громадных тополей. Серпик луны заволакивало туманом, выглядел он неестественно красным, и все скользили, скользили по нему волокнистые пряди мглы.

Темь, тишина улице...

У самых ног прошмыгнула кошка, и от неожиданности меня озnob продрал: провалиться бы тебе, нашла время шляться, напугала до смерти!

Валера крался впереди и беспрестанно подавал знаки соблюдать осторожность. Предостережения, не лишенные смысла: деревянные мостики тротуара походили на клавиши, заваливались, хлябали — чудо, что мы ног не переломали на них в потемках.

Пришли мы... Разумеется, на пруд бабки Пелагеи! Куда же еще, ведь именно тут нет никакой живности, даже несчастных лягушек. Поступок в самый раз по Шерлоку Холмсу!

Подняться глухой ночью с постели, тащиться по мостовой с риском сломать голову и только ради того, чтобы закинуть удочки в пруд, где, заведомо известно, не водятся и малявки, не уверен, что все это кому-либо пришлось бы по нраву.

Собственно, поделом мне, если положился на этого умничающего сорванца.

Валера, пошмыгивая носом, полез на ветлу. Я пристроился внизу, с трудом отыскав местечко посуще. Завернулся в плащ и закурил.

Одолевали комары, мошки. Тоскливо ноя, будто жалуясь, что никто их не любит, они липли к лицу, лезли в глаза и уши. Что за казнь египетская — кормить комаров!

Не думаю, что Валерке было сладко на его верхотуре, то и дело отпускал себе пощечины и шлепки. Ветла шаталась и качала сучьями, так он на ней ворочался, отбивая комарные атаки. Он скулил и повизгивал.

Зеркало пруда слегка дымилось, мрачное, таинственное, и ничего не отражало, кроме лунных лучей, выставивших с берега на берег светлую зыбкую дорожку.

Неподвижны удочки.

Не шелохнут камыши...

Право, я бы вздрогнул, укрывшись с головой от комарья, если б не овладело мною исподволь странное чувство. Мертвая ли тишина действовала угнетающе, завораживал ли черный, казавшийся бездонным, зловещий провал пруда, но я стал озираться на малейший звук. Сорвется капля росы, булькнет в воду — вздрагиваю; качнутся камыши, поймав слабый ток воздуха, — жду, кто из них покажется, надеясь, что это и будет похититель утят. Я смутно догадывался, что наша с Валеркой ночная вылазка вызвана именно этой целью: поймать вора на месте преступления, а удочки — для отвода глаз.

Вдруг в толще воды забурлило, заклокотало: кто-то ворочался, дышал там. Вспучивались пузыри, лопаясь с отрыгистым шорохом. Испуганно пища, вырвалась из камышей какая-то птаха, заметалась спросонок над прудом. Я увидел, как брызнули водомерки, спасаясь кто куда, и тонкие ножки их разъезжались. В водной глуби, в кромешной ее темени сверкнули налитые огнем зрачки... Поклясться готов: зрачки!

Валера опрометью слетел с ветлы наземь ни жив, ни мертв. Он дрожал, он икал.

— Доктор Уотсон... ик! Видите... ик! Я предупреждал вас... ик!

Икота на Шерлока Холмса напала.

— Приключение... ик! Это да-а... ик!

Валера забрался ко мне под плащ. Он трясся, клацал зубами и передергивал спиной.

— Умрут зареченцы от зависти! Узнают... ик! Я им докажу... ик!

Волнение на пруду улеглось. Но камыши долго шуршали, тревожно покачиваясь.

А налитые огнем зрачки мало-помалу обратились в лунные блики. Трепетные, ласковые блики...

Сыграла со мной злую шутку близорукость. Не люблю я темноту. Подавляет она меня, мне всегда делается не по себе, когда окажусь ночью где-нибудь за стенами дома, в лесу или в поле.

Напряжение спадало, я понял, почему пруд «задышал»: видимо, прорвался один из подпитывающих его подземных источников, из-за которых вода в пруду такая холодная даже зноним летом. Пласти гниющих листьев и водорослей приподняло, высвободился скопившийся от гниения газ — и полное впечатление, что в глубине пруда кто-то заворочался, задышал. Все очень просто. Загадочно лишь то, чему не сразу находишь верное объяснение.

Внезапно темная, мерцающая лунными зайчиками поверхность водоема вновь взволновалась. Высунулось что-то тупорылое, тускло отсвечивающее. Это еще что такое! Валера, с неменьшим, чем я, вниманием наблюдавший за прудом, не сдержал приглушенного восклицания. Он вцепился в мою руку и вскочил.

— Топляк всплыл? — помаргивал я, силясь понять, что же происходит.

— Топляк... ну да! — Валера присел за ствол ивы.

Круги по воде, круги...

— Да он движется, Валера!

— Не-ет, вам почудилось.

Призрак исчез с пруда так же внезапно, как и появился. Конечно, всплывал топляк. Полено какое-нибудь.

Не шелохнут камыши. Зеркало пруда начало бледнеть.

— Похоже, дорогой Холмс, — сказал я, — мы и впрямь имеем дело с изощреннейшим противником. Приключение — фантастичнее не придумать!

Он бегом пустился к удочкам. Проверил живцов — целы. Забрался на иву, но ненадолго: удочки притягивали его.

Как-то само собою получилось, что он овладел плащом, и мне в одной легкой рубашке приходилось солено. Мошкара, комары на рассвете рассвирепели. Лицо горело, как обстреканное крапивой.

Хлюпая ботинками по ржавой жиже, Валера неприкаянно бродил по берегу. Полы плаща волочились. Он тихонько скучил и чаще шмыгал носом.

— Что? — не вынес я шмыганья.

— Кусают...

— А дальше?

— Кусаются! — вскричал он со слезами в голосе.

— Вздор! То, что ты испытываешь, пустяки в сравнении с тем риском, какому мы подвергаемся, — подразнил я его. Подозрительно, что на него не произвели никакого впечатления ни клокочущий в ночи пруд, ни таинственное видение, которое, сознаюсь, не давало мне покоя.

— Какой еще риск?

— Закинуть удочки в пруд, в котором, извиняюсь, одни пузыри да выныривает какая-то коряга-топляк...

— Знаете что? — не дал он мне кончить. — Подарим Пелагее Ефремовне уток? Белых, породистых.

— Толково, мистер Холмс. Бабка прослезится: белые, породистые!

Чего не ожидал я от него, так не ожидал: сейчас идти на попятную?

— А что... Маму попрошу, и купим...

Шмыганье участилось. Валера отмахивался от комаров рукавами плаща и скучил.

— Хорошо, подарим, — сказал я, только бы кончилось это шмыганье.

— Она чудная невозможна! — повеселел Валера. — Видели бы вы ее усадьбу. На грядах — ни соринки. А посреди огорода чертополох. Огромный кустыше. Колючий, листья в шерсти. Ага, ага, как в шерсти, мохнатые! Сорняк он. Ага, вредный. Я по ботанике знаю. А бабка его поливает. Честное слово. Говорит: красивый, к нему пчелы летают... И пчел-то не держит! Разве это не причуда?

Я неопределенно пожал плечами.

— По ботанике у мистера Холмса, уверен, пятерка.

Пруд заподергивало рябью. Проснувшийся ветер перебирал листья ив: из черных они стали смутно-серебристыми, поблескивали, как чешуя. Светало. Тучи сваливались за город, в леса и поля.

Высоко протянул реактивный самолет. Его скошенные к хвосту крылья горели, он видел солнце. В прозрачное облако распухала полоса инверсионного следа.

Со станции донесся гудок локомотива, вслед за ним — пыхтенье пара, перестук колес, считающих стыки рельс.

За рекой ударили в лемех: колхозников созывают на работу...

Валера дулся. Он демонстративно оборачивался ко мне спиной, и со стороны можно было подумать: ну чего этот дядька заставляет страдать несчастного мальчишку на комарах! Покуривает, и горя ему мало, а мальчик изнемог, из сил выбился. Ай-я-яй, не совестно ли, не стыдно ли — взрослый человек, виски в седине, и так черство обходится с ребенком! Есть же эгоисты на свете, нет у них сердца!

— Больше выдержки. Уток бабушке подарить никогда не поздно, — сказал я Валерке. — Или ваша гипотеза не подтверждается, и вы, Шерлок Холмс, попросту говоря, скисли?

В ответ опять сопенье. Валера сломил ветку — отмахиваться от комаров. Показалось мало: он теперь лупит себя по спине целым веником. Желал бы я видеть комара, способного прокусить брезентовый плащ! Зато брызги росы с веника летят на меня.

Моя рубашка промокла, а Валера лупит и лупит. Глаза сужены, губы истончились — хлещет и хлещет веником.

— Без труда, мой дорогой, не выловишь и рыбки из пруда...

— Р-рыбка? — Он выпустил веник. Измазанные раздавленными комарами щеки побелели. — Р-рыбка... Откуда в-вы взяли р-рыбку?

Черт возьми, я его сделаю заикой.

— Пословица, мистер Холмс. Пословица, и ничего более.

— А-а... — Валера слглотнул и перевел дыхание.

Я думал, он улыбнется.

Он и улыбнулся — потерянно, вымученно.

Напрасно переживаешь: твоей победы, Валера, я не отберу. Не претендую на твою славу. Ты первый затеял забросить сюда удочки, и добыча, и слава, всеобщее восхищение принадлежат тебе! Зареченские ребята лопнут от зависти, когда до

них дойдет стоустая молва о подвиге Шерлока Холмса на пруду бабки Пелагеи!

С непонятным усердием Валерка ковырял ботинком под ивой.

— Я ноги промочил...

Он выкладывал последние козыри. Решено подарить Пелагее породистых белых уток, у него ноги промочены, следовательно, чего ради мы здесь — сматывай удочки!

— Мама беспокоится, наверное...

На стену хлева Пелагеи села бабочка-крапивница. Складывая цветные яркие крылышки шалашиком, она пропадала, сливаясь с темными, пощелявшими бревнами; раскрывала крылья, и глазки в белых ободках на них словно подмигивали мне заговорщики: не трусьте, ваша возьмет!

Я заменил карасей на удочках на свежих из нашей байдайки.

По-прежнему никакого результата.

«Что ж, может, действительно подарить бабушке Пелагее белых уток и проблема исчерпана? — Я потер подбородок. — А, в утках ли дело! И ведь чертополох в бабкином ухоженном огороде не к одной ботанике имеет отношение! Наверное, трудно заработать пятерку. Победить на конкурсе тоже не просто. А жизнь задает задачи все-равно сложнее, чем в школьных учебниках...»

Валера ушел: у него привычка уходить без спросу.

Я ждал: он вернется. Должен вернуться. Бросить товарища, когда приходится трудно, — нет, он не такой. Я же поверили в него: иначе с какой стати я торчал бы у удочек на пустом пруду!

Я ждал. Ждал его и не дождался.



Днем я встретил его с мамой в городском парке. Он был в шортах и начищенных ботинках. В белоснежной рубашке с галстуком-бабочкой — маленький и очень взрослый человек.

На мой поклон Ирина Викторовна ответила подчеркнуто сдержанно. Выразила сожаление, что вечерняя тесная компания распалась: Василия Владимира вы требовали в институт — срочное задание. Ирина Викторовна просила меня извинить за Валеру: мальчик привязчивый, он, конечно, докучал мне. Его фантазии, его увлечения... Он очень впечатли-

тельная натура, но я могу быть покоен: Ирина Викторовна избавит меня от хлопот. Боже, в каком виде явился Валера нынче утром: опухший от укусов комаров и москитов, смертельно усталый... У мальчика большое будущее, у него выдающиеся способности и пренебрегать его здоровьем... Нет и нет!

— А как же зареченские ребята? — спросил я Валеру. — Ты, кажется, искал у них дружбы.

Валера поднял на меня глаза.

— Они в шахматы плохо играют.

Глаза у него чистые и правдивые. Плохо играют, значит так и есть — плохо.

Своей тайной, открытой им тайной пруда бабки Пелагеи, Валера не поделился: ему не досталось, так и другим не доставайся. Логика? Железная логика!

— Пелагея Ефремовна..., — начал я было, но Ирина Викторовна прервала на полуслове. У нее задрожали клипсы в ушах.

— Позвольте, премного вам обязаны. Но что за общество для Валерия какая-то базарная торговка!



Не везло нам с владельцем бредня дядей Федей: что ни заброс — тина, водоросли. То в мотне счасти застрынет драный резиновый сапог или другая какая-нибудь рвань, то вытаскивали коряги, поленья, ржавые консервные банки, обручи с бочек...

Ребятишки висли на заборе и покатывались с хохоту, хватаясь за животы:

— Ну, дают... вот дают! Цирка не надо!

— Станете уху хлебать, не подавитесь!

— Уха из сапога... ха-ха!

— Еще бы дохлую лягушку на закуску!

Не скажу, чтобы мы с дядей Федей восхищались их остроумием.

— Последний заход — и конец, — подбадривал я.

Забрасывали «в последний раз» и «на удачу», «на счастье» и просто так...

Ребятишки по одному исчезали с заборов, до колик находившихся над горе-рыбаками. Очумели дяди — в пустой пруд с бреднем залезли. Вот умора-то, цирка не надо.

— Опять топляк! — в сердцах я выругался. Черт возьми, надо же, до чего нам не везет.

В мотне темнел толстенный длинный обрубок бревна. Порвем сеть напоследок!

Бревно внезапно шевельнулось, его могучий рывок пересдался бредню, нас посунуло в пруд на глубину.

— Выбирай, — закричал Федя свирепо. — Шибче... шибче-то! Поймали! Свой край заноси... Выбирай! Давай... да-вой!



Мы продели в ее медные жабры коромысло и подняли на плечи. Хвост щуки волочился по земле, широкий, как лопата, с шершавой чешуи скатывались капли.

Прохожие останавливались:

— Да-а, улов!

Наше с дядей Федей шествие по Гончарной окружал почегенный эскорт. Мальчишки не спускали глаз со щуки-великанши, запинались и подсмыкивали трусы. Не смели они и посапыванием в загорелые, шелушащиеся, точно розовая картофелина, носы нарушить молчание, благоговейный трепет сковал их перепачканные черникой уста.

Покрыто мраком, откуда набралось мальчишек. Во всяком случае, когда в бредне, вытащенном из воды, билась эта рыбина, путая сеть и свиваясь в кольцо, на заборе никого не было.

Позади плелся Валера. Он моргал, закусывал губу и столько противоречивых чувств выражала его понурая фигурка, что я старался не оглядываться. Коромысло резало плечо. Щучий хвост волочился по земле, на чешуе играли солнечные зайчики. Ощерив пасть, усеянную мелкими острыми зубами, щука выкатила рыжие глазищи, в животе ее что-то уркало, и она ехала на наших плечах, вызывая всеобщее удивление.

Такую щуку удается поймать, наверное, раз в жизни и, наверное, не каждому. Кому повезет, кому нет, другой сам упустит случай.

А не все потерянное вернешь обратно...

Будем справедливы: еще утром, как никто, имел Валерка право на победу. При осмотре пруда я видел то же самое, что и он. Я не нашел ничего, проливающего свет на злополучную пропажу утят с пруда. И Валерка — ничего. Он сделал иные выводы, чем я, и в этом все дело. Он хорошо знал Пелагею

Ефремовну. В голову ему не пришло заподозрить ребятишек, вообще кого-либо из городка, к чему, откровенно, я был склонен.

Кто тогда вор? Ястреб?

Нет...

Кошки или собаки?

Нет! Остались бы пух, перья, наконец следы. На берегах же пруда ничьих отпечатков, кроме утиных лап, нет.

Кто же тогда ввел бабку Пелагею в разор?

Тот, кто не оставляет за собой следов! Разумеется, «нечистой силой» тут не пахнет — поверить в нее не заставишь нынешних ребятишек.

Валеру неспроста сразу заинтересовало, каким образом обмелел четырехвесельный баркас далеко от реки. Его нелепый вопрос: «Почему в пруду лягушек нет?» — имел, оказывается, свой, скрытый от меня смысл.

Загребает Валера пыль сандалетами. Уныло теребит чубчик. Он получил урок.

Урок чего? Это ему решать...

Бредет он, горько понурясь, загребает пыль сандалетами.

---



## ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ОБЛАКА

«АННУШКА»

Окраской — голубое с бледно-желтым — наш самолет напоминает молочную автоцистерну. Труженик трасс местного значения «АН-2» — с ласковым прозвищем «Аннушка». Вещи и машины, любой предмет наделены характером. У «Аннушки» в ее бензиновой крови заложена любовь к людям. Скромная, тихая и непоказная, как те люди, которым она служит. Комфорт в салоне невесть какой, в скорости не тягаться «Аннушке» с современными реактивными лайнераами. Но только бы аэродром выпустил, пойдет она, коль надо, в моросящий дождик и сырую слякотную хмарь, в мороз и снег.

В северной деревенской глухомани по рейсовому «АН-2» проверяют старые с ножницами на гирях ходики:

— Ставьте по-московски, Аннушка идет!

Она возит пассажиров, грузы, почту и служит вестником времени.

Второй час полета. С высоты необозрим разлив лесов. Одни остаются за крылом самолета, а впереди и по сторонам из-за синей дымки, опоясавшей горизонт, бесконечной чередой наплывают другие.

Редко поселенья. Пять-шесть изб на бугре. Скотные дворы. Бани. Сараи. Полосы пашни, пушистые, сочные от зелени яровых. Серые, суглинистые, в ряби навозных и торфянных куч паровые поля. А за полями опять лес, болота-мшары, лиловые глаза озер. Светлыми прогалинами мелькнут покосы, росчисти старых делянок и снова внизу осинники, березовая молодь.

Воздух зноен и мглист. Парит. Небо обложено тучами. Что ни день — дождь.

Сегодня с утра была гроза. Умыла и напоила леса, травы на пожнях, хлеба на полях.

Лесу лишнего не надобно. Не скуп, не завистлив: лишнего не загнетет под спудом.

Хорошо видно сверху, как лес, избавляясь от лишней влаги, рождает тучи.

Как из кратера вулкана, из теснин темных елей курится столбом белый пар. Столб тянется выше, выше. Его подхватывает ветер и несет, по пути уплотняя, формируя в рыхлое косяматое облако. Встречаются два-три таких белесых новорожденных облака, ветер событ их в одно — и туча готова.

Где она прольется благодатным дождем? Или поглотит ее сумеречная, опоясанная молниями грозовая громада, и тогда реветь ей бурей,олосовать землю градом?

Я не отвожу взгляда от иллюминатора. Где-то внизу мельтешит тень нашей «Аннушки». Я ищу ее и не нахожу: потерялась, заблудилась...

Мы медленно снижаемся. Полное ощущение, что и самолет спохватился, ищет потерянную в лесах собственную тень.

Он находит ее на поле, засеянном клевером. Тень стремительно растет: какие длинные нелепые у ней колеса, поваленные набок крылья.

Самолет ее догоняет. Настиг! Соединились! На короткие мгновения самолет отрывается от тени, пока бежит по полю, подпрыгивая на неровностях. И замирают оба...

Стих гул мотора. Я почти на месте. Пустяк остался: по-  
реправиться на пароме через Сухону, затем автобусом до се-  
ла Городищна. Потом... Потом ляжет под ноги лесная дорога  
меряла ее баба клюкой, да махнула рукой.

Путешествия начинаются с первого шага.

Он сделан.

За какие-то полтора часа — триста шестьдесят километ-  
ров — такой первый шаг вполне меня устраивает.

## ГРАНИЦА

Замешан воздух на дыхании гвоздики и полыни, на мед-  
вяной дикой кашке и пыли пересохших боровых мхов.

Шумят по Пошкану сосны. Я помню их совсем крохот-  
ными: сидели в траве и белых мхах будто зеленые ежики.

Годы бегут...

Годы годами, но и сосна растет быстро: тонкое дерево  
гонит и гонит себя вверх.

Чтобы убедиться в том, достаточно приглядеться к моло-  
дой и лохматой, не причесанной ветрами сосенке. Хоть вот  
к этой. К ее верхней и боковым мутовочкам. Боковые, они  
точно зеленые ладошки. Пожать бы их: здравствуйте! Верх-  
няя мутовочка тянется вверх. Прикидываю на глаз: длина  
ее не менее двадцати сантиметров.

Ежегодно прибавлять в росте на двадцать сантиметров, —  
не правда ли, недурно!

В такт шагам в заплечном мешке побрякивает котелок.  
Песчаная, взрезанная рубчатыми колесами трактора колея  
дороги сереет — вся в осинках, выбитых дождем. Осново-  
дремлют тени елей. А березовые мельтешат и струятся толь-  
ко дохни ветер. Едва он подует, листва заплещет, залепечет,  
высекая искры бликов.

Там, где рождаются облака, для меня целый мир. И вот  
его граница: дорогу, углубившуюся в лес, пересек медведь.  
Он прошел позднее трактора.

В отпечаток босой когтистой ступни налита дождевая  
влага.

Чернявая, смуглая, точно цыганка, и такая же пестро-  
нарядная бабочка-крапивница выпустила булавочку и пьет  
из медвежьего следа, шевеля черными усиками.

## ПОЛЮГ

Вперехлест вершинами, навалами громоздятся деревья, с корнем вывернутые бурей из разжиженной хлипкой почвы.

Весной на закате за Полюгом ухает загадочная птица выпь. Умноженный, искаженный эхом рев ее катится на километры вокруг, заставляя запоздалого путника осмотреться по сторонам и ощутить неприкаянное одиночество.

Издаёт отшельница болот дикие крики неподражаемо своеобразно. Вытянув длинную толстую шею, выпь опускает в лужу острый клюв и дует. Вода разлетается брызгами. Пауза — птица поднимает голову, запрокидывая ее назад. Затем молниеносно вонзает клюв обратно в воду и тогда-то и раздается мычанье, на какое способен разве бык, да и то в гневе, если его раздразнить!

Хлещет по луже клювом и ухает выпь, корчит странные позы. Как солнечному в белых ягелях, земляничному бору идут чеканные росчерки зябликов и шорох муравьев, а полям жавороночки трели и сытый запах спевающих хлебов, так сузенью за Полюгом созвучны рев выпи и потаенный ропот ручья.

Исток Полюга где-то в ржавых топях. Русло извилисто, с берега на берег протянуты липкие сети пауков. Что и места в ручье — так отраженью замшелых елок, с голыми, обросшими лишайником сучьями. Колодины спирают течение, бочаги подернуты радужной, как бы нефтяной пленкой.

## КУЕРМА

Куерма, подобно Полюгу, впадает в Городишину. Вода в Куерме ледяная, пьешь — и щемит зубы. Каждый ее глоток отдает смородиной, корой черемух и еще чем-то непередаваемым. Может, глушью лесной, сузеной? Или медовой горечью цветов с тех поженок утлыих, скромных, через которые пробежалась Куерма?

За вкус воды ценят этот ручей. У бревенчатого мостика на кусту неизменно висит берестяный черпачок-поилка — для всех прохожих.

А их нет, прохожих.

На глинистом спуске к Куерме ничьего следа, кроме тракторных шин...

## **СЕМЕЙНЫЕ**

Началась деревня с общинного шалаша-балагана мужиков с Киселева, кому нарезались покосы в урочище Ложок: Лесные, Степин и Шашурин Лога, Сиенец, Шишка и другие. В дожди-сеногной набивалось под крышу народу, что не продохнуть. О чём бы ни толковали мужики, прикуривая от угольков, речь неизменно возвращалась к одному:

— Кабы насовсем сюда переехать!

Лес рядом — о дровах заботы бы не было. Сенокосы стали бы под боком — не бегай, как с Киселева, за семь верст... Только и заковыки-то: есть землица, да не своя, царская. Близок локоть, да не укусишь!

После революции первым здесь новоселье справил предпримчивый Семен Денисовский. На коньке избы топором высек: «Добрынино».

За Денисовским перебрались братья Олекса и Василий Рожины, Митя Кормановский, — бурно росли в нашем краю тогда хутора и починки. Гляди: семь хозяйств, новая, гляди, деревня.

Имя, данное ей Семеном, — Добрынино, — не привилось. Мудрено шибко. Попроще бы чего.

Нарекли с общего согласия попроще: Семейные Ложки.

Лог или ложок — мокрая луговина. Ручеек по ней вихляет, либо ключ из-под земли сочится.

Вечерами натекает сюда туман, сгущая запахи прели, сырости. Шмыгают коростели и их птенцы, черные и юркие, как мышата. Осыпает травы обильнейшая роса. Сизые, тяжелые капли ее не просыхают и после восхода в листьях манжеток, сверкая, искрясь и переливаясь ярче драгоценных алмазов.

Едва обогреет солнцем, над логами стон стоит от жужжанья шмелей и пчел. Цветистые хороводы заводят бабочки: перламутровки, лимонницы, желтые махаоны, атласно-синие и багряные голубки, бархатисто-черные траурницы. Кузнечики настраивают свои скрипички, и до того монотонно, назойливо, что обрадуешься, если какого-нибудь из них подхватит крючковатым клювом пролетающий мимо сорокопут.

Шесть изб было на Семейных, осталось две...

И строй берез, под которыми, бывало, после дождя обязательно найдешь грибов: сыроеzek и обабков, — поредел наполовину, деревья одряхлели.

В аккурат напротив места, где стояла громадная, чистая и ухоженная изба Семена Денисовского, высится остав мертвей обронившей сучья березы.

В ней, в дупле с квадратным летком, выводит птенцов черный дятел-желна, который, как известно, даже в тайге гнездится в наиболее глухих урочищах.

Дупел в березе множество. В темени нижних дупел селятся скворцы, повыше ласточки, а на самой высоте у вершины — стрижи. Не береза — коммунальная птичья квартира.

Две избы в Семейных Ложках: Агрены Кормановской, старухи на восьмом десятке лет, и Василия Коптяева, колхозного механизатора.

Над избой Коптяева на ветру звенит струной радиоантенна. По зеленому муравчатому лужку разбрелись овцы.

Что говорить, пообезлюдела деревня. Где же те мальчишки и девчонки, что играли в лапту, кажется, совсем недавно затевали рыбалки и походы, собираясь у амбаров? Колхозный почтарь нет-нет и приносит сюда письма со штампами Ленинграда или Мончегорска, Череповца или Вологды — известных и безвестных городов, поселков и mestечек. Металлург и шофер, инженер-полковник и труженица казахстанской целины, — в общем стоит ли перечислять, кем стали мальчишки и девчонки, мои ровесники. Люди нашли свою судьбу, и в дорогу их, в большую жизнь благословили старые, старые березы.

Пылит по дороге грузовик, громыхая бортами. Колхозный шофер Толя Лихачев везет в кузове косарей с пожни: началась закладка силоса. На работу, с работы ли — пешком не ходят: машины-то на что?

На завалине избы Коптяева играет белоголовый мальчуган, таская ржавую железяку по песку.

— Глаз да глаз за вами надо! — шепотом отчитывает он кого-то. — Машина железная, так и бросай ее как попало? То подшипники у них летят, то искру потеряют... Люди-и!

— Может, Вася, мы вдвоем искру поищем? — усмехаюсь я на мальчика.

Он оставляет железяку. Морщит нос и сопит, почесывает босые ноги пятками — отгоняет комаров.

— Не-е... Свечи надо продуть, вот и все, будет искра.

Вася пятый год, моторы ему не диковинка. Нашел я кого выслушивать, нашел с кем искру искать! На тракторе Вася знает каждый винтик, что к чему. Если отец возится с ре-

монтом, Вася подает ему разводные ключи: не беспокойся, папа, сын не ошибется, даст, какой следует. Смышленый парнишка, он, пожалуй, одного боится — лошадей. Ну их, лягнут за здорово живешь!

• Повывелись по деревням Бурки и Карюхи, и лошадь я видел один раз, когда привозили из сельсовской лавки муку.

Вася держался от нее подальше, под защитой изгороди. Исподлобья, недоверчиво поглядывал на телегу.

Видно, недаром на Семейные привел меня рубчатый след шин, разматываясь в узкой затравевшей колее дороги нитью волшебного колобка...

### «КЛАДЕЗЬ МЕСТНОЧЕСТЬНЫЙ»

Хожено, похожено этой рощей! Сквозь светлые, призрачные поляны, где деревья в инее, в пухлой нависи, и сумерки полыхают багряными студеными зорями, и сугробы в письменах звериных нарысков: вот горностай проскакал в Митин ложок, вот рысь под Коробицыно. Снег висел клоками на сучьях, еловые лапы в пухлых рукавицах, а лыжи — скрип! скрип!..

Весной, прорываясь в захламленные дебри, в хвойные залишки, по роще льются ручейки тончайших ароматов от лесной сирени — волчьего лыка. Ручейки, ручейки — по всей роще. Ничто так не оживляет воспрянувший от зимней спячки серый и голый лес, как мелкие лиловые соцветья волчьего лыка и их благоуханье.

А забыть разве летние вылазки за груздями! Холодные, скользкие, как льдинки, они прятались под молодыми елочками, нарочно зарываясь в мох, прелые листья и траву. Зато, когда найдешь, и не один гриб, сразу много — то-то, радости, то-то аукаешь бабушке:

— Сюда! Груздей-то, и до единого махонькие!

Бабушка ходила с батожком. Я-то пожадничаю, лишь бы корзину пустой не нести, и червивый сломлю, а у ней гриб был на подбор, с круто закатанными краями, в прохладной слизи — в корзине ослепительное белое пахучее диво! Вернемся домой с полными корзинами, вся изба напитается ядренным лесным духом. Поныне запах груздей вызывает у меня в памяти и рощу в теплой испарине после дождя, и бабушку, как она батогом прочь откидывала с тропы сучья, чтобы не путались под ногами:

— За нами ведь тоже людям ходить...

Осенью звали в рощу брусника и розовые бахромчатые волнишки-вовденки. Тропу затоплял поток опавшей листвы: зеленой и гремучей — с ольшин, желтой и сухой березовой, алоей, мягкой — с черемух, бледной, золотистой, в черных прожилках и пятнах — с осин. Пересвистывались на просеке рябчики, висли к земле тронутые инеем кисти калин, и стоял мухомор у муравьища — на белой ноге в красном колпаке. Столбами перемещался туман. Туман, туман — с солнцем пополам туман. В нем гортанно кричали журавли...

Хожено же, перехожено этой тропой, и я узнаю ее повороты, старые муравьища, приметные деревья.

Нетерпение подгоняет, с угора я сбегаю бегом, ветви ольхи хлещут в лицо.

Городищна...

Зеленым-зелены ее берега — в непролазных зарослях дудника, крапивы и валерианового корня, в кустах малины и шиповника, туго перевитых диким хмелем, ползучим мышиным горохом. Густ ощетиненный колючками шиповника заслон. За ним елки — острые вершины подняты пиками. Теснятся осины и березы, сосны низко опускают лохматые сучья, точно щиты. Порой иного пути нет к Городищне, кроме как по безымянным тропкам да просекам.

Кое-где у приплеска песок, до последней кручинки мытый-перемытый, и груды камней. Из глинистых обнаженных круч, извиваясь, высовываются щупальцы корневищ.

Одиночное, докрасна раскаленное облако невесомо зыблется на глади крутой излуки. В омуте свечой горит отражение белоствольной березки, не разгоняя его затишливых зеленых потемок.

Я слушаю говор переката, и просятся с языка строчки древнего поэта:

О светлыи-светлая и красно украшенная  
земля русская!

И многими красотами удивлена еси:

Озера многими удивлена еси,

Реками, кладезями местночестыными...

Здешний «кладезь местночестыный», источник почитаемый, — Городищна, река глухая, не помеченная на картах. Древняя, века и века несет она воды по хвойным ущельям. На ней недавно был найден бивень мамонта, вымытый из берега...

## ХАРИУСЫ

Отскакивая от воды, по кустам на берегу, по белой коре берез и листве прыгают веселые зайчики. Прыгают и возвращаются обратно на воду, и вновь отражаются от нее.

Зелено-золотист свет прибрежного леса: любая мошка, пролетая над рекой, пудрится в нем, кажется крупинкой золота, а у чайки, медленными взмахами крыльев пробирающейся зеленым ущельем, упругая грудь выглядит совсем как из червонного золота, и глаз блестит черно-лаково, точно спелая черемуха.

Река — поток воды и поток света.

Тени, мохнато падающие на воду, углубляют омута и ставят препоны свету. Неодолима эта плотина, свет хлещет поверх нее: по макушкам деревьев, выплескивается на излуки, разливается там выше берегов. Смотреть на излуки глазам больно, так много там солнца.

Вода течет. Свет течет. И летают золотые мошки.

За мошками выпрыгивают на перекатах хариусы и, наглотавшись золота, отяжелев, падают на дно.

Ташит «водяной шелк» — клочья тины, похожей на кисею. Тина цепляется к крючку, огружает поплавок. Все-таки не поклевка ли? Вынимаю лесу: черт возьми, червяков раздергали 'гольяны'!

Червяки у меня в жестянке — сущая дрянь. Тем не менее раздобылся я ими с великодушной помощью всего мальчишье-девчоночьего населения Семейных. Тамара с Любашей, Вася с Сережкой — все потрудились. Червяки для меня — драгоценность, и на тебе: жрет гольян, зрящая рыбешка, то, что предназначено хариусам. Одним хариусам — на прочую рыбу я не согласен.

Погоревав, обновляю насадку. Червяки, подвиливая розовыми хвостиками, корчатся на крючке. Мелкота, наживляю зараз по нескольку штук.

Перекат гонит пену. Камни, омываемые течением, в круговороте воронок распускают космы черного мха. Проблескивают во мхах песчинки, осколки раковин-перламутровиц.

На перекате хоть камни считай, так он мелок. Струи его — вода пополам с солнцем. Не здесь ли сливаются оба потока: воды и света?

Текут пятна сверкающей ряби по камням, водорослям и мхам.

Играют хариусы, вылетая за мошкарой из бегучих струй. За мгновенные, подобные вспышкам выбросы я успеваю поймать взглядом, что у рыбин удлиненные зрачки, мерцающие как луны, что плавники спинные, будто косой парус, бока — серебро с благородной чернью. Или мне память подсказывает, что у хариусов чешуя — серебро с чернью?

В тенях от леса струи переката зеленые, темные и кажутся упругими, мускулистыми.

Поплавок вновь и вновь описывает пологую дугу. Забрасываю на середину, в буруны, к камням, на самую стремнину. Кора с удилища не снята. Белого, всего приметного хариусы боятся. Ужу я, однако, в майке. Жара донимает.

Чертыхаясь, надеваю серый пиджак. Он горячий, жжет спину: раскалился, долго пролежав на припеке. Забредаю глубже, давая леске более широкий и свободный ход.

Черви, между тем, на исходе. Есть примета: чем уловистее водоем, тем сложнее обстоит дело с наживкой. Допускаю, примета глупая, но оправдывалась не раз, и в душе я ей доверяю.

Возле поплавка вскипает крутой бурун. А-ах, мазила же ты, харьосок: по поплавку клюнул, на пробку польстился! Что же... что с нее получил?

Еще всплеск! Поплавок стремительно поволокло на дно, в камни. Удилище передает сильные рывки. Леса позванивает, натягиваясь туго. Взмах удилища — в траве на берегу пачкает чешую песком, извивается кольцом крупная рыбина.

Есть почин. Я снимаю хариуса с крючка, сажаю на кукан и опускаю в Шишку, родник с ледяной водой.

Стоять выше колен в бурной воде, с замираньем сердца следить за поплавком и ощущать, как рвет лесу сильная рыбина, борется за извечное право жить в этих темно-изумрудных, высвеченных солнцем бушующих струях, плескаться, слитком живого серебра взметываясь в воздух с парусом-плавником... Нет, это уженье, раз испытав, ни на какое не про меняешь!

### ЗЕМЛЯНИКА

В тени на берегу вбиты ольховые рогульки. Разжигаю костер. Где дым, там и дом!

Уютно мне по-домашнему у привальной теплинки. Пламя лижет бока котелка, коптит их пахучим чадом.

Шумит река, шумит родимая... Наталкиваясь на каменистую гряду переката, ропщет, взбивает пену, распускает радиужные пузыри и крутит буруны и воронки. Разбивается река на струи, и у каждой — свой голос с единственной в общем гомоне интонацией, неповторимым тембром...

Я подкладываю в огонь сухие прутики. Дребезжат крылышками стрекозы. Шмель гудит на цветке. Протяжно выкликает кулик-перевозчик, летая с берега на берег.

Для меня здесь целый мир — прекрасный мир детства. Он на обыкновенной земле, ничем, собственно, не примечательной. Что в них такого: в деревеньках, в заросших просеках по рощам, в таежных ручьях и зеленых берегах мелководной речушки? Ничего... Положа руку на сердце, признаешься: ничего такого! И недавно я стыдился, что здесь она, страна моего детства: в песчаных полях, над которыми уныло вопя: «пи-ить! пи-ить!» — кружат сарычи. В лесах-суземах, где день ходи, два броди, можешь следа человека не встретить и где нескончаем гул верхового ветра, осины от подножья до последнего листа налиты тревожным рокотом...

Обыкновенная земля, до того обыденная — дальше и некуда.

Смотрел я на карту области. Учебная, в любой школе висит. Все вологодские достопримечательности на ней помечены. И что же? А ничего... Нет у нас достопримечательностей, не лежат в наш угол туристские маршруты.

Ха, Семейные Ложки! Переставь ударение нечаянно — и из деревни получится инструмент, щи им хлебать: из Ложков — ложки...

Когда был я маленьким и в городе приносил на почту заказное письмо для бабушки в деревню, то из окошка тетя высовывалась:

— Адрес правильный, мальчик?

Мечтал я тогда: хоть бы вынужденную посадку совершил в наших местах какой-нибудь знаменитый пилот! Много их, знаменитых, и летают много, а как вынужденная посадка, авария, так небось все Дальний Восток. Хоть один бы сел в Семейных Ложках и тем прославил их на всю страну!

Или каменный уголь нашли бы в роще, алмазы на Городище, золото в Куерме, — нет, все в Сибири да на Колыме.

Ну что есть у нас? Что?

Нечем нам гордиться...

И как же порой хотелось заступиться за обиженный, заброшенный этот край, и рисовало распаленное воображение, что в самом деле клад подземный у нас нашли, города на Сараду и в Кокорнике выросли, трубы кирпичные, заводские поднялись куда выше сосен у гумна!

Нынче ищут и у нас. Кажется, нефть ищут...

Виделся я с геологами. Говорят, ищем, а пока не нашли...

Половодье солнца на излуках. Перекат шумит. С камешка на камешек прыгают, плещутся светлые струи, и у каждой своей напев, свое звучание. Слушаю я перекат, смотрю на отражение березки в омуте, и вспоминается мне поездка с братом на Кавказ. Года три назад это было. Утром простились с благоуханьем тропически-знойных магнолий в Сочи, зашуршало шоссе под колесами «москвича» — и вот уже горы в снежных шапках, скалы, парящие орлы, овечьи отары на альпийских лугах, горцы в надвинутых на лоб мохнатых папахах... На Крестовом перевале брат, сидевший за рулем, притормозил и вышел из машины. Бегом — на бугор, зовет меня:

— Смотри, земляника!

Сияли вечными ледниками горы, каменным хаосом громоздились скалы. А брат опустился на колени перед белень-ким, простуженным на горных ветрах цветком:

— Земляника... Как у нас на Городище!

#### ТРАКТОР ДИКТУЕТ

Я иду берегом. По реке были некогда пашни. Чиркали камни по лемеху, звякало колечко в дуге.

Были поля не больше заплаты на мужицком кафтане-азяме. Скрывали их от чужих глаз в лесу. От путей-дорог по дальше. Пахали, сеяли воровски, украдкой. Беда, коли урядник или казенный лесник проведает. От орленых пуговиц чистое разоренье! «На чьей земле сеешь?» Царская земля, лесу его величества на ней полнеть-матереть, а не твоему житу, неумытое рыло! Кыш, выметайся со всеми потрохами... в остроге сгноим!

Прятались нивы-кулижки в сузeme. Были, как заплаты.

И окончательно заброшены, запустели...

Что же за пашня: трактору негде развернуться! А трактор диктует, быть не быть ли полю. Вынес приговор: не быть, до-

роже обойдется пережог горючего, чем сиротский десяток — другой суслонов.

Затрещали сучья. Вырвался из ольшаника бурый, с ощетиненной холкой лось. Не дал на себя посмотреть — пошел, пошел ломить по кустам!

Ни дорожки берегом, ни тропки. Трактор продиктовал: не быть полям.

### КРИВЛЯКА

Высокий березовый пень. На солнце дымит, сверкая берестой. Просыхая после дождя, исходит паром. Трухлявый, он сплошь в дырях-дуплах. Отставшие от черного покрошившегося поддона серые лыка завиты в плотные трубы.

Лопухи, трава осыпаны трухой: под корой, надо думать, завелись древесные муравьи. Труху не смыло, ее привело дождем к ворсистым листьям.

Может, есть во пне и закорыши? На них хватко берет головль.

Я примерился, куда запустить нож, чтобы отодрать бересту вместе с корой, и возле уха раздалось змеиное шипенье. Высунулось и промелькнуло в дупле длинное жало.

Змея? На Городишине? Я больше удивился, чем испугался..

Хорошо, что на меня пал случай ее найти. Я по собственному опыту имею о них представление. Но очутись на моем месте кто из местных, кто их в глаза не видывал, — сунул бы из любопытства руку в дупло: кто там шипит?

Запущу-ка палкой. Вполне вероятно — в дупле гадюка. Ужи, сдается мне, высоко не заползают.

Размахнулся... Р-раз! Пень аж загудел.

А из дупла выпорхнула птичка.

— Клю-клю-ю, — залилась она на лету.

Вертишайка, она от гнезда отпугивает, шипя по-змеиному и высовывая язычок, узкий и длинный, как жало.

Нашла где из себя змею корчить — на Городишине, где о змеях слыхом не слыхали!

Согласен, вертишайка — актриса, каких поискать. Птаха, птичик серенький, но зашипела, язычок высунула — змея, да и полно! Дар у нее, не спорю. Только не на Городишине бы ей разбрасываться своим уменьем: талант — он к месту хороший. А не к месту — склопочешь палкой, больше ничего.

## НОРКА РАКОВНИЯ

Умерили шум перекаты, ушли в себя в нездешнем, глубоком раздумье. Приняв отсветы неба, река словно бы раздвинулась, сверкает, как расколотый янтарь. Трава в испарине, седая, мокро шуршит, когда я устало бреду берегом по набитой тропке.

Взгляд спотыкается о толстые еловые кряжи, осинник, березняк, — обсохли на берегу после сплава, просто так брошены. Если сводят суземье, это уборка лесного урожая. Но мне не по себе, если вижу, как гниют бесполезно эти бревна, которые могли бы стать крепежом в шахте, опалубкой ГЭС, даже скрипкой, даже томиками стихов...

Плесы таинственно светятся изнутри, и где-то сверчок скрипит, скрипит неугомонно.

На противоположной стороне под обрывом откуда-то взялся зверек. С кошку сам, но тонкий, приземистый. Право, кошка, если бы не короткие лапочки.

Сновал, вынюхивал он, извивался гибко. Вдруг — нырь в воду!

Около минуты провел зверек под водой. Тем временем я приготовил фотоаппарат с телеобъективом. Темно, нет надежды на снимок. Телеобъектив я использую как бинокль.

В водолазе я узнал норку. В потемках она черная, вообще же бурая. От носа до кончика пушистого хвоста бурая с рыжинкой. Губы белые. В сметану проказница лазила? Не облизалась и на грудку капнула? С чего я эту юлу сравнил с кошкой: стать у ней не та, повадки у норки не те — повадки юркого пролазчивого хищника, кому и суша и вода одинаково родные стихии.

Норка вынесла на берег рака. Черного, усатого! Хватая, его помяла. Придавила лапкой и есть не спешит, озирается, все ли ладно. Мокрая шубка ее всыхивает искрами, в зрачках нет-нет и зажгутся зеленые огоньки. Рак живой, пощелкивает клешнями, пытается уползти.

Не отнимая окуляра от глаза, я протяжно свистнул.

Зверек настороженно заводил сплюснутой мордочкой и вытянул шейку.

Рачище, не будь дурак, использовал момент: цап клешней за мягкую когтистую лапку. Ух, прянул зверек! Рак, отброшенный при прыжке, плюхнулся, раскорячясь, в реку, но раньше его под воду улизнула норка.

«Спаситель! — усмехнулся я про себя. — Рака спас. Надо же, рака!»

А что, рак, он тоже хочет жить.

«Рак пятится назад», «показать, где раки зимуют»... Полноте, не так он прост, рак! Ну да, пятится. Пятится пятится, но, выставив навстречу врагу свои клешни, чуть тот оплошай, — цапнет! Нет опасности, и рак ходит по дну, как следует, головой вперед, с вызовом распустив усы. А «показать, где раки зимуют», — отчего ж нельзя, можно; в норах они, на берегу. Похолодает, загрозит стужами близкая зима, рак ищет защиты у земли: земля, она никого не выдаст...

## ДВЕ ЛУНЫ

Мазки туч водянисты. Зато четко, как на гравюре, проступают березы. Ночь, а купола их влажно блестят, осиянные непонятно откуда идущим светом. От росы ли это свеченье или, может, от самих берез?

Поля в туманной поволоке, подсиненной, как снятое молоко. Туман отстаивается, пахнет из него дневным дождем и теплышью.

Комары толкуются, свесив задние ножки-ходули.

Крыши синеют, — странно, как я раньше не замечал, что при луне тесовые кровли изб такие синие-синие? Стволы берез струятся: ощущение, что березы парят, не касаясь земли, осиянные непонятно откуда идущим светом. Почему раньше не замечал, как парят березы при луне?

Бледен, насквозь прозрачен тонкий срез луны. Он плоский, он очень близок — повис над березами, над синими-синими крышами...

Это было лет тридцать назад. Коллективизация! И вынырнули откуда-то странники-оборвушки, с холщовыми сумами через плечо, и богомолки-старухи в черном. От избы к избе, от деревни к деревне — черные тени: «Миряне, конец света!» И появлялись на дверях изб кресты, наспех выведенные смолой, блестящие, с потеками. И слухи, слухи!

— Чули? Слон появился! Ходит, на волости уж видели.

Ох, как мы, маленькие, боялись того слона — ну-ка, ходит! Ну-ка, народ крещеный губит! Большой слон, с овин прямо-таки. С хоботом... крещеные, с хоботом!

А на Кишкине, в Сарафановской и Космаревской Кулиге, на Быкове уж и скот обобществлен. А на Попове и Сельменьгской Слободе одну землю сообща пашут, коровы по своим дворам...

До полуночи не гасли огни по избам. Что будет-то? Как дальше-то жить будем?

Ребятишки распевали по деревням:

Сани вятские баские  
Нам известно, где стоят:  
У Ефима на сарае  
На подкладочках лежат!

Скрыл Ефим выездные сани — ну-ка, сам не ездил, берег и как это отдать в чужие руки? Порешат саночки, ведь изуродуют!

Разные имена получали колхозы по округе, в нашем Нюкセンском и соседних районах. Были «Трактор», даже «Дунай» почему-то, но я не погрешу против истины, что преобладали названия вроде: «Восход», «Звезда», «Солнце социализма». Был и «Прожектор». А у нас колхоз назвали «Луна».

Так и записано в протоколе: «Луна».

Наверное, Ефим Иванович Чежин, первый наш председатель, поводив бровями, откинулся назад голову и припечатал по столу ладонью:

— А что? И луна будет советской!

Зная его характер и склад мыслей, без какой-либо натяжки можно допустить: выразился бы Ефим Иванович именно так.

Или на нашу долю прочих светил, кроме луны, не осталось?

Не знаю, мал я тогда был. И что там ни суди, ни ряди, оказалось у нас две луны: одна — в небе, другая — в деревеньках, как Семейные, Овчища, Шишка, Кресты. В полях и лугах, пожнях, навечно переданных колхозу по акту с государственным гербом на ледериновых корочках.

Бывало, на маслозаводе ли, на почте ли в Городищне слышишь:

— Откуда молоко?

— С «Луны».

— Газеты для «Луны» забрали?

Так это привилось, что и сегодня, когда наш колхоз влился в укрупненное хозяйство, если нужно уточнить, куда по-

шла автомашина, где живет тот или иной человек, употребляют в разговоре:

— А-а, да они с «Луны»!

Растаяли в густой просини последние тучи. И как загустела синева неба, так отстоялся и загустел воздух. Он насытился тишиной и рассеянным лунным светом. Не шелохнет в деревне. Под окнами прокричит перепел неизменное: «Подполоть! под-полоть!» — и замрет, как подавится росинкой.

Березы неподвижны. Распущены до земли их косы. По белой коре стекают лунные дымчатые тени.

Между прочим, от этих вековых берёз не далек волок до деревни Челищево, родины командира космического корабля «Восход-2» Героя Советского Союза космонавта Павла Ивановича Беляева...

## ГУМНА

Под крышей осы лепили к тесинам серые гнезда. Была на этот счет примета: много осиных гнезд по гумнам, не пустить закромам зерна. Примета точная, как большинство крестьянских: в сухой год плодятся осы обильно, в мокрый — и ос нет, и посевы с весны подопревают. Что весна начала, осень докончит: зарядят дожди, сгноят хлеба в суслонах. В мочливый год что посеял, и того не соберешь...

С осени по гуменникам и овинам находили укрытие ронжи, стаи желтеньких овсянок и красных снегирей, приваженных необмолоченным льном, грудами мякины на току, скирдами соломы. Залетали сычи поохотиться на мышей. И стужами январскими стоял в гумнах теплый, с ароматным овинным душком запах зерна, сухой хрусткой соломы, не выветривался ни метелями, ни поземкой, которые заваливали сугробами строения по водосточные желобы.

Ночью кто из моих сверстников отважился бы сбегать на гумно: ведь там Ягишна!

В лесу, известно, баба-яга, костяная нога, а в гумне ее дочка — Ягишна с малыми детскими. Семейная она, вишь, Ягишна-то.

Ступиши в гуменник, Ягишна тут как тут. Пуговку, вот что и найдут на току вместо тебя. Ту пуговку единственную, которую отпарывали с изношенных портков, чтобы пришить к новым.

Мастерица сказывать сказки была моя бабушка Агния Игнатьевна.

— ...Не пустил на гумно девушек Иванушка, добрый молодец. Девушки гадать уверялись, он им: «Следа не делайте, и дорогу не торите». Гадали в прежнее время-то, гадали! По ночам, да-а... Как стемнеет, зги не видно, — девушки на гумно. Положи в овинное окно руку: никто не тронет, в девках, сударушка, сидеть; голой рукой погладит — за бедного высоватают; мохнатою — быть за богатым. Гадали... да-а, чего в прежнее время-то не было!

— Бабушка, а дальше? — канючу я.

Жужжит веретено в ее сухоньких проворных пальцах. На столе шипит фителем семилинейная лампа, посапывая сосет керосин, и тени на голой бревенчатой стене, лохматые и горбатые.

В окнах — ночь. Под полом скребется мышь.

— Смотри-ка, послушались девки, — продолжала бабушка после паузы, которую она выдержала, как истая рассказчица. — Пошел Иванушка, добер молодец. А курея курит, а витер, ровно малый робенок в овине плачет. «Фу-фу-фу! — встречает Иванушку Ягишна.—Не тебя ждала». И почала она загадки загадывать: «Скажи, что за три дуги? Не скажешь, не ответишь, обманешься — съем, косточки размечу. Ворон очи выклюет!» Иванушка разумен был и догадлив. «Три, — говорит, — дуги: радуга-дуга, у ведра дуга, запрягать коней дуга». Курея-то пуще крутит, в овине не ветер-сиверок воем воет — Ягишнины детки есть просят. Сызюрова Ягишна доступается: «Что за три косы? У Иванушки готов ответ: «У девицы коса, у петуха коса, косят сено косой». Боязно ему, Ягишна из овина вылезла, клюкой стучит, доступается: «Что за три мати? Не отгадаешь, съем, косточки размечу, ворон очи выклюет!» Иванушка не сробел, отвечает: «Родна ма-менька — мати, сыра земля — мати, в избе потолок держит — бревно-матица».

Представиши себе темень гумна, где углы забиты ключьями заиндевелой паутины, где яма в овинную каменку ведет, будто прямо сквозь землю; где пятна луны, как брызги белил, и обыкновенная веялка принимает облик неведомого чудища, и зычно гаркает сыч: «Фу-у... фу-фу!» — жутко делятся. Ежишься, передергиваешь плечами, канючишь у бабушки:

— Еще... еще расскажи!

Клянешься: шагу на гумно не сделаю — никогда и ни за что на свете.

А утро наступит: в избе запахи свежевымытого пола, подгоревшей в чугуне картошки. В устье печи свиваются дымные космы пламени, постреливают угольки на шесток... Прочь вчерашние страхи! Сползаешь потихоньку на голбец за валенками, пальтишко наденешь, опрометью бежишь на гумно. Там второй день стоит настороженная плашка. Немудреная ловушка: две доски, сторожок лопаточкой — всех хитростей. Да и ловец не мудреней: что под носом блестит, себе на руки собирает.

Не скупы были гумна к нам, деревенским детям. Горох подвевают бабы, — нагребешь горошку полны кармашки! Лен треплют старые бабки — выпросишь отрепей, совьешь кнутыкытенек: то-то им себя по ногам оплетаешь, подскакиваешь, воображая, что верхом ты на лихом коне, как буденовец!

Гумна деревенские, запольные, зневали вы праздники. Как гремела по вам молотьба! С ранней рани до потомок — гром молотильного барабана, постреливающего калеными зернами, золотистые облака половы вровень с крышей, ручьи зерна из-под веялок. Скалит стальные зубы барабан, вырывает из рук подавальщика Матвея Лихачева снопы, удергивает в ненасытную свою утробу, захлебывается на минуту, чтобы взреветь еще оглушительней и еще яростней рвать снопы и выдавливать вороха мяты соломы, струить сухое зерно. Хлопают веялки. От трактора, нацелившего прожектор в пыльную темень гумна, бежит, пощелкивает сшивками шкив. Бежит шкив нескончаемо, как нескончаемы голодный рык барабана, тряска железных суставов молотилки и всхрапыванье потных коней, на которых Виталька Рожин и Галя Денисовская отвозят солому к скирдам.

Пыль, запахи керосинного перегара и мелузи, овинного чада и конского пота, шуршанье соломы, топот копыт, людской оживленный говор... На гумне молотьба! И гул большой работы летит, летит: к огромным соснам у гумна, чьи стволы в два мужичьих обхвата, к опустевшим полям, откуда увезены суслоны и где на стерне ситечка паутин, голо, серо и перелетывают черные тетерева, клюют в бороздах накрошившиеся зерна...

Теперь гумна молчат. Подгнили желоба, и тесины сползли наземь, обнажив покосившиеся стропила.

За ненадобностью гумна разбирают на дрова.

Жнут, молотят в колхозе комбайнами, зерно сушат не по дедовским задымленным овинам, а на сложных агрегатах с железной трубой, подобной заводским.

Всему определен свой век и, как ни грусти по гумнам и овинам, — срок им вышел, исчезают из деревень.

А в последний раз, помнится, в них гадали в войну. Ставили поленья на тех, кто на войне. Чье полено упадет, тому не суждено никогда больше увидеть белые березы...

И я ставил. Ставил три полена. На отца — ушел на фронт в июне 1941 года. На маму — она была мобилизована, строила в Карелии оборонительные сооружения. На брата — ему вручили повестку о призывае тоже в первый военный год.

Падали поленья...

Ох, сколько их падало по гумнам в те дни!

### ДЕДОВО ПОЛЕ

Чтобы увидеть небо, надо покинуть лесные тени и шорохи. После тесноты чащи, где прель и гниль, где впритык деревья ствол к стволу, где лучи солнца вязнут в хвое, запутываются, пойманные в сеть сучьев, поля обдают горячим запахом пыли, встречаются трескотней кузнециков и светом.

В полях сосны.

Они встретят, когда позади останется прибойный гул верхового ветра, папоротники, духота ельников и комариный зуд сырых болотин.

Стволы сосен шероховатые, в грубой чешуе и пятнах лишайников. Матерые, изборожденные трещинами, они чем выше, тем глаже. Лиловая серость подножий переходит у сучьев в латунную желтизну. Массивные, как из металла отлитые, держат сучья на весу тучи порыжелой хвои, и не шелохнут под тяжкой ношей. Обрушься сосны, не выдержи прокаленные солнцем узловатые сучья непомерного бремени — хлынет хвоя по полю — и колоску на нем не уцелеть!

Велики разлаты сосны.

Сметены к корневищам сухие колючие шишкы.

Оплетенная корневищами, земля суха и тверда, кажется седой от мха.

Крайняя сосна поражена молнией. Устояло богатырское, со стволов не в обхват дерево. Только расщеп вершины омертвел. На моих глазах ударила молния, и было это четверть века назад. Могла бы за это время вершина иструхнуть, заразить сосну гнилью. Но пропиталась древесина смолой, и тлен не берет.

Род свой поля — все, что глазом охватишь, — ведут от по-таенных лесных полян.

«Поле», «поляна» — не одного ли корня слова?

Предпочтение отдавалось при выборе будущей пашни полянам с липами.

Где липа, там тучней, урожайней земля.

«...Мужие, пришедшие на место то, и начаша той лес сещщи, да створят себе нивы, насеяния обилию», — можно прочитать в древней летописи о земледельческом труде далеких предков. «Обилие» — зерновые хлеба. От этого древнего выражения пошло слово «изобилие».

«Обилие» — «изобилие», «хлеб» — «богатство», не правда ли, емок и красочен язык седой старины!

А строку из летописи я привел потому, что нашими дедами разрабатывалась лесная новь под пахотные угодья приемами, как века назад.

От липок на поляне до ржи и овсов долга была песня.

Тюкать да тюкать топору, сеять щепу. Падать и падать лесинам, пока-то расширится поляна. С ранней рани до заката тянуть мужику жилы, надрываться — пока-то срубленные деревья сносит и скатает он в валы-костры, выдерет гнилое коренье. Мало ль лесин на подсеке-новине, а каждая, считай, на горбу побывает. Говорила пословица неспроста: «Жить мужику в лесу, знать лес с весью». Осеню занимались костры на росчисти: дым, треск, копоть. Потухнет огнище: где сучья, бревна навалом громоздились, теперь на обугленной земле — зола, черные пни, колодины. А камней обнажилось — убирай, не убрать. А дерновина — ее не то что плуг продерет, ее и начерте-то не вспахать!

И выламывать мужику камни, корчевать остатки горелых пней. Чистить пашню день за днем, день за днем... Пропахнет он чадной гарью, перемажется в головнях и золе — леший лешим!

Сосны в поле — свидетели, какой был тут лес, с кем единоборствовали здешние крестьяне и выходили победителями.

Стволы будто вытесаны из серо-бурого гранита, поражают своей толщиной и несокрушимой мощью. Буря налетай любая, свищи, завывай и крути смерчи — не дрогнут сосны! Века вековали они в суземье, чаще нехоженой, теперь сторожат покой поля, которое, как чащу, с краями наливает голубой цветущий лен или золото ржи, колосистого ячменя.

И вдруг сосны воспринимаются мною как памятники. Сосны в поле — памятники тем, кто в былые времена вырубал росчисти и жег валы — в копоти, в чадном пламени, когда дым выедал глаза, от невыносимого жара трещали волосы и на пропотевшей рубахе выступала соль. Подвигу сродни труд тех, чей плуг проложил на отвоеванной у суземья ниве первые борозды! И как велик был этот труд, так велики сосны, поднявшие к облакам медные литые сучья и громаду хвои.

### ПЛАЧ НА ПЕНЬКЕ

Марево. Контуры лесной гряды размыты, синеют, как горы, — синие-синие, далекие-далекие. Оттуда, из дали дальней, вываливается и распухает что-то мутное, мглистое, чему и названья нет. Время от времени мглу распахивает розовый огонь, трепещут и колыхают сполохи. Выблески отдаленных молний я, наслушавшись бабушкиных сказок, принимал в детстве за взмахи волшебного платка Василисы Прекрасной. Убегает она от Кощея Бессмертного, машет платком, оставляет позади себя буреломы — дебри дикие, горы высокие, моря-озера глубокие. Может, так и наши леса-трущобы появились на земле от платка Василисы Прекрасной?

Солнце в дымке, палит без милости, нестерпимо горячее и косматое, и от этого нещадного жара в воздухе запах гари.

Мгла надвигается, ползет, готовая все подавить своей грузной тяжестью. По-прежнему вспыхивает в ней розовый огонь. Сполохи встряхивают мглу, на миг она обретает переменчивую игру из желта-бурых тонов, на месте сполохов долго мерещатся темные, черной густоты промоины.

Я собрался было уходить с поля, как в кустах у заполоска слух уловил непонятные звуки.

Плач?

Кому бы тут слезы лить! Некому сюда ходить и незачем. Грибов нет, потому что суша. Перепадают дожди, ливень позавчера был, — все равно земля не промочена. Земляника

краснобокая, не вызрела. Да и уверен, нет ягод в этих кустах.

Плач? Да, тонкий, детский...

Кто-нибудь заблудился? Не может быть. Не такие у нас ребятишки, чтобы на виду у деревни в лесу нюни распускать!

Странно все, очень странно.

Я напряг слух и, ручаюсь, глаза у меня засияли: эге, да эвон кто расплакался!

Плохо, что сушь, не ступить шагу, чтобы под каблуком не выстрелил сучок с треском. Подкрадусь ли я? Сумею ли?

В кустах вижу лазейку. Боком, плечом вперед я протискиваюсь в нее. Сойдет ли мне благополучно вторжение в кусты?

Сошло, не подшумел...

На пеньке в кустах — рыженький бурундук. Пушистый, как одуванчик. С толстыми щечками и ушками торчком. Полосатый малютка, он свешивает плоский хвост с пенька и раскачивается из стороны в сторону. В его черных блестящих глазах застыла печаль и скорбь. Ах, убивался, горевал бурундучик! Передние лапки у него с пальчиками. Обхватив лапками голову, бурундук раскачивался, бил поклоны, и ныл жалостливо, и плакал. Плакал безутешно. Взывал к сочувствию, просил разделить его горе-горькое.

Посмотрел я, как бурундучик, свесив хвостик, убивается и, не таясь более, затрещал сучьями обратно из кустов. Быть грозе, быть непогоди! Примета охотничья, необманная — быть дождю! Бурундуку шубку — пушистый одуванчик — замочит, норку подтопит, вот он почему стонет, плачет, на сочувствие напрашивается.

В полях отемнало. Налетает шквал, столбом завивая пыль на дороге. За серой пеленой избы деревни, косые изгороди. Из кустов несет сбитые вихрем листья, и тревожным гулом полнятся сосны. Мутная мгла, заволокшая горизонт, отделила от себя облако. Оно низко волочится, сближаясь с полями, с деревней...

Сочно пробрызнуло из тучи. Капли свертываются в пыли серыми шариками и, чудится мне, шипят.

### АКИМКА ЕЛИН

... — Осенью было, инея уж перепадали. Подошел я это к озеру. Выглянул — на, плавают! У селезней хвост в колечки

завитой, на крыле — по зеленому зеркальцу. Утушки посмогутся: «кря-кря», — перушки чистят, оципываются. Бабы, они и есть бабы. Н-ну, картина! Только во вниманье прими: стая на середине озера. Охтимнеченьки, с чьим бы ружьем, не с моим, и не доступайся. Да мое ведь с уронным боем. Даром порох не перевожу, моды нет. Я ведь ка-ак наметюсь...

Единственный глаз его вдохновенно сверкает. На лавке старик не усидел. Места не приберет — взлохмаченный, бороденка растрепалась, на смуглых скулах пятнами румянец, — мечется по избе.

— Марфа, — кричит он за дощатую заборку, куда спустилась его старуха в подполье за картошкой, и упирает руки в бока. Выставив вперед ногу в валенке, притопывает нетерпеливо. — Сколь я уток тогда приволок, Марфа?

— Двух, — ворчливо раздается из подполья. — Патроны зато до последнего выстегал.

— И-и-и... — взвивается Акимушка. — Ума нет, молчала бы! Дву-ух? Беду бы ты переводила, маломощная!

Он подскакивает ко мне, хрипит задохливой скороговоркой:

— С-семерых! В лежку положил! Провалиться на этом месте, — в лежку! По озеру пух разметало, цельного места нет. Бой ведь у ружья... что ты-и!

Не представить было городищенский лесной угол без Акимки Елина. Кокорник, Сарад, берега озер Темного и Рыбного, Сельменьга, Осоковатка — много, думается, потеряли бы, не знай они этого щуплого старика с кожаной «сункой» на боку и ружьишком за спиной, в азяме-пиджаке из домотканого сукна-сукманины. Акимка пропадал в суземье. Пропадал — самое точное слово! Потому что окривел на охоте, когда заряд пересолил порохом и ружье в руках разорвало. И ревматизмом он маялся, половину здоровья отняли изнурительные вылазки по топким приболотьям, гарям и буреломным урочищам.

Он брал на ружье и промышлял капканами таких осторожных хищников, как рыси, росомахи. Но... но пагуба его: терпеть не мог, чтобы не прихватнуть, и мало кто принимал Акимку всерьез.

Держал он кузницу — и вещал во всеуслышание: «Струмент бы подходящий, я ведь такой, я ведь самолет откую». Плел лапти — и норовил к старопрежней этой обутке приплести голенища. Сверля собеседника единственным глазом, на-

шептывал по секрету: «Для Москвы заказ». Помнится, в лаптях с голенищами Марфа потом обряжала скот.

Он тачал кожаную обувь, шорничал. Делал туески, плел корзины. Его приглашали ремонтировать и перекладывать печи в избах. Аким во многих ремеслах крестьянского обихода был сведущ, и все-таки жизнью его был лес.

Я любил бывать у него на хуторе, в избе, где пахло дегтем, лыками, по лавкам валялись обрезки кожи, сапожные колодки, стреляные гильзы, онучи и тряпье. На спице рядом с обратью и безменом висело ружье «уронного боя»: ствол в латунных запайках, мушка медная, самодельная, ложе перевито проволокой, скреплено гвоздиками и жестяными кольцами. Под столом пес, положив морду на лапы, мел хвостом пол. Как сейчас вижу я и пса под столом, стены избы в трещинах, закопченный потолок, мух на печи, и слышу скороговорку Акима:

— Думаешь, суземье немое? Эге-е... Топор, глянь вон. Немой, а? Без голосу? Эге, парнечок! Попади топор в настоящие руки к мастеру, избу он поставит: по балкону резьба, ровно кружево, конек на кровле. Да чего там, без уменья ведь полена не расколоть. Топор — обух да топорище. Но о мастере, о его руках всю правду и топор выложит без утайки, песню споет! А лес, а суземье? И-и, ровно что такое и, есть, в лесу мы полоротые, слепые и глухие. Оглядеться нам недосуг. Взять во внимание недосуг, что у всякой твари в нем, у всякой былинки свое понятие и место. Травка, скажем, подорожник. Невидненькая: ступил ногой и дальше пошел. Небось никто не видел, как ее медуница обхаживает. Жужжит, брунжит с лаской, позволенья испрашивает: дозволь-де присесть. И хоботок... хоботок свой прежде медом смажет. После и елозит по цветку, только после!

Акимушка замолкал, в рот набирая деревянных гвоздиков. Ковырял шильцем подошву сапога. Вгонял гвозди обушком молотка. Вправо, вкось бил, — так и думалось: только бы тебе, Акимушка, посудачить.

— Да-а, с медком медуница-то к нему, — продолжал он погодя. — С почтением: дозволь-де, без корысти я-де к тебе. А почто? Пользительнее подорожника нет травки. Ногу настер — приложи к ране лист подорожника, как рукой боль сымет. А мы? Смял, подмял — дальше пошел. Зачем? Мы сами по себе, лес. былье в нем всякое, зверье и птица — сами по себе. Зачем?

Пес запросится на двор. Аким выпустит его, вернется на прежнее место на лавку.

— О князьках, поди, не слыхал ты?

Он для чего-то отряхивал холщовый, в пятнах вара и дегтя фартук. В горсть пропускал бороденку и косил глазом. К молотку больше не притрагивался.

— Весной на глухарей я подался. С вечера на ток попал. Костерик-теплинку этак исправил. Ночь выдалась звездная, месячная. Хоть мак сей, до того безветрено. Сижу я, дремлю. Вроде поразвиднелось маленько. Ночи у костра короткие. Бстал я эдак, за ружье берусь. На! Кучко, собачонка моя, откуда ни возьмись — шасть мне непутево под ноги. Ластится, руки лижет. Охтимнеченьки, что за оказия? А в суземе как осветит, ровно что такое и есть. Засветилось этак, и на — показался! Он показался! Белый — белей черемухи в цвету. Очи — заглянуть в них боязно. Рога — будто воск топленый. О двадцати отростков рога! Копыта точеные. Белый-белый сам, шерстинки-остинки нет с пороком. Идет — стать-то у него, поступь-то! Будто волной его несет. Ступает — и земли, мхов-лишаев не касается, прутика не ворохнет. Этак глянул я на него. Ружье держу: не пальнуть ли? Тут как ухнет, как загудит по лесу — помертвел я, всего затрясло, ружье выронил. «У-у-ух!» — ухнуло так по лесу, и порск, порск кто-то прямо по огнищу, от головешек искры столбом. И все пропало... Тогда-то в ум мне пало: князек лосиный мне открывался. Есть... есть они, князьки! Матка у пчел в улье, князьки в суземе. Есть, есть они — у лосей, глухарей, у всякой птицы и зверя. Есть, да не каждому покажутся!

Было мне пятнадцать лет, я начитан был, мог уличить Акимушку: чего заливаешь, какие еще князьки? Белые лоси и глухари по-научному — альбиносы. Несчастные они существа, это про них поговорка о «белых воронах»!

Я молчал: много ли нужно, чтобы спугнуть сказку?

Одно слово — и нет ее, сказки; земля же, где нет места для сказки, сера и постыла...

Где-то есть же белый лось, хоронится где-то в непробудных дебрях чащи белый глухарь, почему б им не быть и в городищенском лесном углу, в kraю Акимки Елина? И блуждая по суземам, ловлю я себя на мысли: ах, открылся бы он мне, князек, — белей черемухи в цвету, остишки нет с пороком, копыта точеные, рога — будто воск топленый, желтые и о двадцати отростках, очи — заглянуть в них боязно!

## ЧЕРНИКА

Дождь пал на истомленную жарой землю, как на раскаленную сковородку. Зной вернулся влажный и душный. С полей и перелесков дождевая влага уходит вверх волглым беловатым туманом: рождаются новые облака...

Солнце водянисто, водянист парной воздух. Солнце высокое и бледно-малиновое. На него смотришь, не отводя взгляда. Ни теней, ни игры света в каплях дождя на траве, — притушил их низкий и душный туман.

Я сворачиваю с дороги в заполье, в черничник. Набираю ягод в горсть. Они мелкие, вишневого цвета, и не освежают в рту. Во рту по-прежнему сухо. Ягоды не дозрели, на них не успел образоваться синий налет.

Черника, я думаю, везде одинакова. Ягода простецкая. Вкус у ней везде один. Хоть у нас, в заполье, хоть, скажем, в Белоруссии.

Белоруссия родная, Украина золотая,  
Ваше счастье молодое  
Мы стальными штыками оградим! —

пожалуй, никогда не забудутся солдатские песни фронтовых лет.

На ту, памятную мне, железнодорожную станцию эшелон нашего полка привезли под утро. То ли в штабах решали, на какой участок прорыва нас бросить в бои, то ли впереди было разбито полотно, — неизвестно отчего, но мы застряли почти что на сутки, и нам сказали, это — Белоруссия.

Собственно, станции не было. Груды кирпичного лома. Поваленные и сожженные столбы в путанице ржавой проволоки. Остовы обгорелых, исщепанных осколками вагонов за насыпью колеи. Воронки от авиабомб. Воронки на перроне и в поле, где вместо поселка — закопченные трубы печей и головни. Кучи пепла, головней и крошево углей.

Ребятишки прибежали к эшелону спозаранок. Замызганые кофты и кацавейки, рубашонки из марли, — какого только на них рванья не было! Они стучали в вагоны:

— А вот витамины... вот витамины!

— А у меня смачней!

— И у меня!

В пилотках, в подолах рубашонок они принесли черники. Мы ели эту простецкую лесную ягоду, хвалили ребятишек и

подшучивали: от витаминов столько сил у нас прибавляется, — что фашистов шугнем — до Берлина побегут без оглядки!

Выделялся мальчишка с каской. Было ему лет одиннадцать, или двенадцать. Он верховодил ватагой. На поясе у него болтался трофеиный тесак в обшарпанных ножнах. На худеньком, с просвечивающими синими жилками запястье — компас на ремешке. Чей-то солдатский подарок. Мальчик не тянул в вагоны каску с черникой. С достоинством ждал, что мы спустимся из вагонов.

— С собой бы забрали, — хриповатым голосом обращался он к нам. — Я б постарался, лишним не был.

— А мамка?

— Тю-ю, что вспомнили! Ее ж в сорок первом фрицы повесили: связной была у партизан.

— А отец?

Он не ответил. И больше вопросов к нему не было.

В полдень не горели по насыпи костры. Варить нечего: что причиталось по сухому пайку, мы роздали ребятам.

К вечеру они явились снова. Опять с черникой.

— Почему ж вашего главаря с каской нет?

— Мины, дядько, в лесу, — принялась объяснять стриженная, как мальчик, тоненькая девчушка. В юбке и кофте из застиранной гимнастерки. Видно, одной гимнастерки на весь ее наряд хватило. — Фрицы от партизан, уй-уй, дюже богато мин понавтыкали. Да вы не тушуйтесь, Петруся ж на раз... Кабы ноги поотрывало, тогда худо. А его на раз. Ни-ни, не тушуйтесь! Бярите чярничку. Мы и грыбов вам принесем. Не тушуйтесь! Петруся ведь на раз... Ага, на раз убило!

Широко расставляя ноги-спички, она зачерпывала из подола ягод грязной замурзанной горстью:

— Бярити-и... сплошь витамины!

От головы эшелона донеслось:

— По вагона-а-м!

Паровоз тронул без гудка. Залязгали буфера и сцепления, состав резко дернулся и пошел.

Бежали рядом с вагонами кофты из марли, перешитые гимнастерки и кацевейки в заплатах. Состав убыстрял ход, и они отстали. Но до поворота колеи мы видели, как ребятишки размахивают передачканными в чернике руками и что-то кричат на прощанье.

А сюда не дошла война — до сосен в полях, до зеленых берегов реки. Не падали бомбы, не нарушал покой плесов Го-

родишины вой чужих самолетов. Не стали партизанскими леса, материиковое наше суземье...

Я набираю ягод в горсть. Ягоды мелкие, вишневого цвета. Черника, я думаю, везде одинакова — ягода лесная, простецкая.

### ИМЕНА ПОД ЗВЕЗДОЙ

Она стоит у крыльца школы. Почему я ее не помню? Такая великолепная береза у крыльца, сотни раз проходил мимо нее — и не помню, забылась. У нее белая кора, грустные ветви. Длинные-длинные ветви. Зеленые листья в пушку. Стоит в заветрии, пушок не обмялся.

Село безлюдно: все еще на работе.

Динамик у почты надрываеться, бархатный голос диктора, поди, слышно и на Жару. Диктор вещает о Вьетнаме в огне, о передвижении военно-морского американского флота в Южно-Китайском море.

Улицей села пылит грузовик. В кузов с откинутым задним бортом свалены молодые березы. Пригнувшись, удирают с дороги куры. Грузовик волочит за собой пышные клубы пыли. Она горячая и розовато-золотистая. Если идти по летней пыли босиком, она жжет ступни, струится между пальцев, щекочет, и пальцы сами собой задираются вверх.

Грузовик въезжает во двор школьного интерната. Березы-подростки. Кора смуглая, загорелая и шелушится, как кожа на спинах у мальчишек, что в трусах ниже колен удят с воды у моста.

Сегодня в Городищенской школе выпускной вечер. Запахнет в классах листвой, муравьицами, земляникой и солнцем — лесной воздух привезен вместе с березками в их густых, как бы шелковых кронах.

Окна нашего класса на дорогу. Невыносимо дуло в них зимой. Замерзали чернила. На первые уроки не назначали ни контрольных, ни диктовок. Потом чернильницы оттаивали, стоял в классе тихий звяк: ткнешь пером в чернильницу, заденешь талую льдинку, и она звякнет. Шла война, с дровами приходилось туго.

А здесь были укрытия-щели. Мы отрывали окопы зигзагами, согласно инструкции. Со стенок осыпался песок, крупный, как дресва, красный и липучий. Ученики младших классов играли в переменки на дровах, на крышах сараев, забираясь черт

их знает куда! На вехотьке же у входа в школу не было следа красного песка. Щелей, открытых на случай бомбажек, избегали и беспечные малыши-первавши.

На стенах в классах рядом с расписанием уроков на кнопки, на гвоздики были пришпилены плакаты, как уничтожать немецкие танки бутылками с зажигательной смесью, и граната «РГД» в разрезе.

Коридоры школы ранней ранью были гулки, темны и пусты. Я или опаздывал на уроки, или приходил рано. Двенадцать километров до школы и, если мороз — прибежишь раньше; если метель — опоздаешь. Раз меня провожал волк: он шел за мной до Пошкала от самого Полюга.

Щелей, конечно, теперь помина не осталось. Земля зарубцовывается быстро. Где змеились во дворе щели — зигзагами, согласно инструкции, — там поднимается в строительных лесах здание школьных производственных мастерских. Кучи щепок в пятнах известковых брызг.

У интерната ребята втыкают в землю молодые березки, прислоняя их сучьями к забору. Листья сетчато просвечивают жилками. Я понимаю, хочется принарядить школу в торжественный день, когда ты становишься взрослым, аттестат зрелости получаешь на руки, точно пропуск в жизнь:

— Твори,  
выдумывай,  
пробуй!

Село Городищна разрослось за последние годы, домов в нем наверное вдвое больше, чем до войны.

Если смотреть на село с нюксенского тракта, с полей, то сно видится скоплениями зелени, соединенными цепочкой домов. Над тополями у больницы кружат грачи. За школой тополя стоят ствол к стволу. Сад заложили школьники весной 1941 года. Тополя тогда были тоненькие с широкими в ладонь листьями.

По деревянному тротуару стучат каблучки.

— Тебе что по истории досталось?

— Не говори! Самое легкое — о начале войны!

Стучат каблуки по тротуару. Девушки в легких платьях, впервые в жизни у них высокие, взрослые прически.

Я стою на тротуаре перед окнами своего класса и уступаю им дорогу.

На стене мемориальная доска. Выбита звездочка, под ней имена.

Шушков Анатолий Васильевич, Бритвин Петр Матвеевич, Теребов Василий Иванович, Кашников Николай Николаевич... Братья Николай и Иван Короткие...

Выпускники школы. Четырнадцать имен.

Их выпускной вечер пришелся на 22 июня. Вечер есть вечер, а певестки из военкомата поступили раньше, днем...

Пиджаки с помятными лацканами, полосатые футболки (они были в моде, футболки), значки на груди: ПВХО, ГТО и «Ворошиловский стрелок».

Их жизнь уместилась в строки учебника по истории. Бои под Ельней, в донских степях, в Карелии. Бои, бои — их судьба, совсем юными приняла их родная земля.

Мемориальная доска. Живые цветы. Жужжит залетевший с полей шмель с ворсистым седым брюшком. Головки цветов кланяются ветру.

И сдается мне, я слышу во дворе школы голос военрука Николая Афанасьевича:

— Коротким... коли!

— Длинным... коли!

Когда Николай Афанасьевич отдавал команды, то приподнимался на носочки, задирал голову и прихлопывал по шинели ладонями: очень старался, чтобы мы, шестнадцатилетние, прониклись ратным воинским духом.

— По-о... пластунски! — Николай Афанасьевич поднялся на цыпочки, у него ходят кадык. Палку-костыль он прижал к боку, и, округлив глаза, отрывисто бросает: — Вперед! Носом... носом землю паши!

Живые цветы под мемориальной доской. И гудит шмель. И пылят по дороге машины. И на проводах качаются ласточки...

Семьдесят восемь воспитанников школы пали смертью храбрых на полях сражений. Двое из городищан за воинские подвиги удостоились звания Героя Советского Союза: Александр Павлович Болтушкин из деревни Сарафановская Кулига и Иван Прокопьевич Кормановский из деревни Великий Двор.

Струят листву тополя, посаженные руками тех, чьи имена высечены на мраморе...

Во дворе интерната ребята втыкают в землю смуглые березки. Знойно, и запах вянущей листвы отдает горчинкой.

На столбах связи и электропередач, разбежавшихся от деревни к деревне, дежурят пустельги. Желтоглазые, рыжие, в черном крапе. Их серо-сизые хвосты оторочены траурной каймой. Когда птица взмывает, бросаясь в поле над посевами, хвост разворачивается веером, в скрипучем пере, в острых крыльях свистит распоротый воздух. Замедлив полет, пустельга трепещет, как привязанная, и звонкое ее: «кли-кли... кили», — звучит надрывно и одиноко.

Это — полевая Городищна, крестьянская сторона. О том, какая древняя она, говорят названья деревень: Дор, Сарафановская и Космаревская Кулиги, Великий Двор, Быково... Двор и Быково — ясно, издавна мужики имели дело со скотом. Но что означают «кулига», «дор»? Корни слов славянские, русские изначально. «Кулига» — это клин земли, прогалина, отменная урожаем хлеба лесная росчисть. «Дор» — то же самое, что целина, по современным понятиям. Селение на подсеке-целине и есть Дор.

Изы, серые изгороди. Расплавленное жидкое солнце в речной излуке-подкове...

Сух воздух, сдобрен цветущей таволгой, скошенным сеном и медовыми белыми кашками. Он упруг и жарок, будто из печи дует. Из печи, где, гремя заслонкой, хозяйка печет пироги. Запах хлеба! В воздухе тянет хлебным духом — это зацветает рожь.

Глаза завяжи, и то поймешь: ты в полях. Поймешь по запаху ветра, по крику пустельги. По шуму грузовиков и рокоту самолета.

Посадочная площадка на задворках деревни Жар.

Самолет берет курс в леса, в сузенный наш угол. Чем загружен «АН-2» — удобрениями, гербицидами? На бреющем полете он будет подкармливать или пропалывать поля с воздуха. Поля, которые менее полувека назад обрабатывались по системе агротехники, описанной еще в древних рукописях.

От выжигаемых новин до площадки в полях, от суковатой деревянной бороны до гербицидов с воздуха... Меняются времена!

— Кли-кли-кили! — кричит пустельга. Скогтила добычу. В лапах зажата мышь. Болтается ее хвостик.

— Кили-кили!

На столбе пустельга расклюет ее без помехи или унесет в гнездо?

Понесла...

Ветер пахнет свежевыпеченным хлебом, медово-сладкими кашками, сухой и жаркий.

### БЕЛОЕ ПЯТНО

В беспечном лепете молодой листвы, в неге цветущих черьемух вечеря перволетья. В стыдливом румянце берез и тишине, отраженной тенями и как золотой канителью, расшитой пеночками с их тоненькими посвистами. До дна вычерпывают тишину удары выпи с болота. Трубные кличи журавлей волнуют ее из края в край, а замрут ликующей нотой, и тишина возвращается. Томятся вечера, объятые прохладой черьемух.

И тогда запевает соловей.

Соловьев на Городище я услышал впервые весной сорок второго года. Была та весна, первая военная, со странностями. То увидишь горлицу, воркующую на сосне, — ни раньше, ни после не встречались более здесь эти южные голубки. То у мельницы на Светице спугнешь с плеса серую цаплю. То залетит черный, с красным клювом дрозд со стаей знакомых дроздов-белобровиков...

Может быть, от войны в глушь безлюдья прятались птицы?

Как бы то ни было, соловьи водятся у нас. На черьемуховых откосах Сухоны их просто обилие. Может быть, они потомки «эвакуировавшихся» от военного лихолетья?

Мечта путешественника — стереть с карт белые пятна. Пожалуй, мне это удастся. Есть карты орнитологические: на них помечены границы распространения птиц. По этим картам судить, нет в районе Нюксеницы соловьев. Надо стереть это «белое пятно» — соловьи у нас поют и гнезда вьют!

### АГИТАТОРША

Что ей доля бабья, крестьянская сулила?

Пахать. Жать. Лен на гумне трепать. Скот обряжать в хлеву. Зимой — пресница: «На липе сижу, сквозь клену гляжу, березой трясу»... Натрясешься за вечер веретеном-то! Надо же напрясть на мужа, на себя, на пятерых детей. Под вес-

ну — кросна, и тки, гни за ним спину. Э-эх, тканье — через нитку проклято!

Челнок ласточкой летает в проворных руках. Не похулят у Федора Перегудова жену: домовитая. В хозяйстве зря каплю не прокапит. Дивья, говорят, Федору, друг друга, говорят, они стоят, что Федор, что Лидия — оба работящие.

Летает челнок. Взад-вперед, взад-вперед... И судьба бабья, что у челнока: снуй от хлева к зыбке, от зыбки — к преснице, к кроснам. Снуешь, мечешься день-деньской, а жизнь, как эта ряднина-сировина, — серая ткется жизнью.

Думано было, передумано, пока решилась: рвать, так рвать со старопрежним житьем! Отправилась баба по деревням сбивать народ, агитировать за «коммунцию». Откуда что в ней взялось! Было ей тогда за пятьдесят, годы на склоне, а знать, знала, чем разбередить душу, если с Ивок и Ляменского, с Зареченской Кулиги и Околодка — из семнадцати деревень поднялся за Лидией Перегудовой народ строить коммуну.

Кто бывал в лесах, тот знает, как трудно пробить тропу по суземному целику. Чтобы тропкой пользовались и другие, — трудно! Лужа, пенье, колодины. Петляет, выписывает тропа немыслимые восьмерки. Попадешь впервые на нее, незнакомую, непременно попытаешься тропку спрямить: эк, кривуляет, эк, ее заносит! И угодишь, сойдя с тропки, либо во мхи, водой залитые, либо в чащу. Бывает, испугаешься — не потерять бы тропу, не заблудиться бы. С радостью возвращаешься на проверенный путь: да-а, прямее его, оказывается, нет! Кто-то с умом шел по нему — с умом, тот, первый-то, кому обязана тропка рождением в этой глухи!

А по жизни дорогу пробить легко? Новую-то, небывалую-то!

Суровые устанавливались законы коммунарского братства. Рубаха на себе — твоя, холст же из амбара общий. Инвентарь хлеборобский, животина, какая ни есть, до остатней курицы, посуда, чашки, ложки — ничего своего, все общее. Ютились коммунары поначалу в тесноте: по двадцать-тридцать человек под одной кровлей. Не семьями жили, трудовыми бригадами. Дети отдельно — в яслях, с няньками-пестуньями. Обед в столовой, из одного котла.

Видали ли, как в лесу свет борется с потемками? Долга ночь, копит мрак час за часом. Луч же света утренний — с укол иголки, тоныше он паутины. Проточится сквозь хвою, на-

громождение сучьев, лишайники сивые, так тем неодолимей сомкнется вокруг темень. Но коснулся луч шероховатой коры елки матерой — расплавится в горячее пятно; во мхи пал — зажег росу. С пятен горячих, с полымем охваченных росинок на папоротниках и хвоцах начинается день в суземье...

Со всей округи бывали ходоки на Лопатине, куда переселились коммунары. Дивились ходоки порядками, чесали бороды:

— Оно, если так, и ничего: работай, об остальном не имей заботы — все даровое, поровну, по едокам распределяется...

В коммуне работали по-мужицки от зари до зари.

Клуб. Пекарня. Швейная мастерская. Катальня — валенки изготавливать для всех в коммунарской семье. Двухэтажный жилой дом. Свинарник, амбары, скотный двор... Что ни постройка, то и неслыханное, невиданное. Ведь у нас веком не зневали, как хлеб не из своей печи — из пекарни на стол кладут. Разве Городищна — город! Клуб... На Лопатине-то?

Заскрипели на пристань в Брусенец обозы с зерном под кумачовыми флагами. Шли табуны скота на мясопоставки.

Сумерки, непогодь застигни коммунара в пути, не в каждой избе дадут приют. Раскололись деревни. Кто выждал, что из коммуны выйдет; кто грамотея искал написать заявление о приеме в «Луч»; кто и зубами скрежетал: «Смутьяны... ужо вам!»

Не раз на ноги коммунаров поднимал набат: горело сено в пожнях. Зловещими заревами полыхали осенние ночи. Скот в коммуне оставался без кормов на зиму.

И все эти трудные годы была Перегудова душой коммуны. Баба, как баба. Агитаторша, как ее прозвали по деревням. А не в том ли и сила ее была, что простая она женщина, хозяйка, работница? Кость от кости тех, кто пошел за ней?

Разъезды: то в край, в Архангельск вызовут, то в район. В трех сельсоветах Перегудова организовывала колхозы. Разъезды... Поныне помнят, как в коммуне играли свадьбу. Дочь родная выходила замуж у Лидии Кирилловны. Мать покинула праздничное застолье — Агитаторшу ждали по деревням. И то, что мать оставила праздник, — неслыханное нарушение традиций! — это воспринималось уже как должное:

— Ведь Перегудова... Не для себя живет.

Вечно ее окружали люди, и это принято было как должное:

— Агитаторша!

Но выпадет лихой час, когда человек остается один на один со своей бедой. Горький час. Час испытания на излом.

Ей, работнице исконной, потерять руку? Кровью истечь, стать инвалидом?

Парторг коммуны Перегудова не брезгала крестьянской работой, и сама поехала на мельницу. Не проверить, как помол идет, — не в ее это характере.

Рукав фуфайки затянуло в жернова...

Подплывшую кровью, Лидию Кирилловну привезли на Лопатино, в коммунарскую столицу. Спекшимися, одеревенелыми губами прошептала сыну:

— Мне бы в больницу, рука болит...

Ее не было, руки, и кости раздробило жерновами.

Весна. Распутица.

До Тотьмы — девяносто верст. На ободья колес наматывало глину, по брюхо в мутной воде заморенно брела лошадь, роняла в ляги хлопья пены с удил, с запавших боков. Вихляло и швыряло подводу в вымоинах, заливало грязью. С талых луговых проплешин срывались чибисы, косо ударяли под днища лиловых туч, заламывали крылья: «Чьи вы? Чьи вы?»

Бездорожье, бездорожье — девяносто верст...

Не чаяли, что выживет: у здорового эта дорожкаолжизни унесет!

Она вынесла, она выжила. Месяц и провела в больнице в Тотьме: неспособно болеть мужику, а бабе и подавно.

Прежней, не сломленной, вернулась Перегудова в коммуну. Только рукав фуфайки был пуст: отнята была рука выше локтя...

Такая она у нас, в Городищне, была первая коммунистка из крестьянок!

Забегая вперед скажу, что по приезде из Городищны я первым делом обратился к архивам: хотелось узнать как можно больше о коммуне «Луч» и ее создателях. Архивы молчали, ни слова не нашлось в них о Лидии Кирилловне Перегудовой, старейшей крестьянке-коммунистке Севера.

Я позвонил своей матери в Архангельск: помнишь Перегудову?

— Как же! — донесла до меня телефонная трубка. — Помни! Жива она, что ли? Ой, да ведь ей поди много годов-то?

— Мама, расскажи о ней что-нибудь.

— Боевая она была... Ой, забыла! Сватъя она нам, сватъя!

Так ничего путного я не добился: сватья, и больше ничего. И архивы молчат, — очень мы небрежны к своему прошлому!

...Полднем, когда трещат кузнечики в сомлевших горячих травах, в поднебесье на кругах плавают канюки-сарычи, дозоря поля, и ветер сух и зноен, — покидает избу над речным угором ветхая бабка. Нащупывает батожком дорогу, плетется за околицу.

Стоит в полях, в былых коммунарских, и ветер треплет пустой рукав исподницы. Немощная, сгорблена, опирается бабка на батожок. Не поддавалась, да одолели годы: девяносто первое лето за вислыми худыми плечами, и волос сед, глаза незрячи. Ветром шатает, ровно былинку к земле гнетет.

— Ржица в пору колос выметала, — шепчет старуха. — Хлебный выладится, видно, год. Ровно горячую, прямо из печи ковригу разломили: ветер-то с хлебным духом... С хлебным!

#### ПЫЛЬ АРХИВНАЯ

Но в архивах я-таки сидел и копался. И не жалею о потраченном времени: рыться в старых бумагах, перебирать пожелтевшие, закапанные воском листы, в фолиантах с медными застежками выискивая крупицы того, что имеет отношение к глухой стороне нашей, значило порою как бы заново открывать ее, землю близкую. Углубившись в чтение и со страниц вдруг не пылью книжной, а копотью, дымом давно отгревших сражений нанесёт, и почудится конский топот, звон мечей, свист стрелы, пущенной с тетивы, и предсмертный крик ратника.

А летописи древние! В них певучий говор предков, помыслы и труды их, и даже, кажется, отблеск лампады, колеблемой сквозняком монастырской кельи, где писец-затворник низал на пергамент славянскую вязь, завещая ее потомкам:

«...Князь великий Иван с Ондреевых селиц и с Галицианы пошел на Городишину, да на Сухону, да в Саленгу на Кокшенгу воюючи, а город Кокшенгский взял, а кокшаров секта множество, а с Кокшенги на Вологду... а князь Дмитрей побежал в Нову-городу».

Проникнешься духом выцветших от времени строк и оживут «дела давно минувших дней», как в борьбе и сраженьях мужала Русь; увидишь Москву средневековую, избянную и де-

ревянную; подобно видению, возникнут шатры ханов татарских на краю Дикого Поля, серые деревеньки в лесах на месте нынешних городов...

Но какая связь, где она, в чем — лесной, суземной городищенской стороны с деяниями предков, заслуживших упоминания в древних государственных актах?

И я не сразу поверил в то, что этими вот полями с ромашкой пролегал путь ратников великого князя Московского Ивана III.

Ведь в школе нам об этом не говорили на уроках...

Городищна («Городищная» в летописи за 1442 год) вместе с Саленгой — притоки Сухоны. «Кокшенга» — соседний с Нюксенским Тарногский район, его жителей поныне в обиходе зовут «кокшарами».

А кто князь Дмитрий? Да Шемяка же — помните сказку о «Шемякином суде»? Вот, вот — тот самый Шемяка! Удельный князь Галицкий, он всеми силами противостоял объединению раздробленных на уделы русских земель вокруг Москвы. Заяв с помощью предателей бояр Москву, Шемяка выколол глаза князю Василию (потому известен тот как Темный, т. е. слепой), выгнал его, и Василий вынужден был в конце концов укрыться за стенами Кирилло-Белозерского монастыря. На московском престоле Шемяка правил недолго, в свою очередь сам бежал из восставшего города.

Вдогонку за мятежником была отряжена рать «на Городищную, да на Сухону, да в Саленгу». Шемяка, сидевший в то время в захваченном им Великом Устюге, ушел в Кокшеньгу, тогда новгородскую вотчину, откуда за благо почел убраться в Новгород. Там и нашел смерть — его опоили отравой.

Кстати, князь великий Иван, возглавлявший московское воинство в походе на Кокшеньгу, годами был юнец — имел от рода всего двенадцать лет...

И есть у нас место, овеянное легендами, — Мыгра, холм, крутыми оползнями обрывающийся к реке Городищне. Открываются с холма такие дали, что сердце щемит от любви к этим полям, к деревням с их антеннами и скворечниками.

Холм венчала церковь, белокаменная, с одним куполом. Она просуществовала не меньше ста лет, пока не разобрали на кирпичи, потребовавшиеся настройку машинно-тракторной станции.

Белый сияющий куб храма был виден с некоторых участков из лесов на многие версты. Помнится, идешь по дороге

на Шишкино, оглянешься с угора у силосных ям: как на ладони вся полевая Городищна с деревнями, пашнями, с зеленой горой Мыгры и лебединой статью старинного строения.

Ранними утрами с лугов-наволок натекал низинный, затканный лучами солнца туман, и холм и белое здание как бы парили, невесомо поднятые на облаке...

Мыгра, она вся в легендах. Не утихали слухи: горят на горе свечи, зарыт там клад бесценный!

И искали их, эти сокровища, досужие руки. А находили томеч заржавленный, то копьецо — наконечник стрелы.

Откуда взялись эти мечи да стрелы?

Оттуда же — из глубины веков...

Невесть когда стояла здесь крепость, с башнями, рвами. Основание ее — высотою более десяти метров, длиною около сорока, шириной семнадцать метров — сложили строители-землекопы. Крепость охраняла крестьянские поселения от набегов кочевых племен, если верить письменным источникам, приходивших за добычей на Городищну из Сибири и Приуралья. Корреспондент «Вологодских губернских ведомостей» в 1849 году свидетельствовал, что одна из башен крепости «...существовала, как говорят некоторые из туземцев-старожилов, около 1760 года».

Лепятся по холму красные сосны, у подножия теснясь светлым бором, где легки сквозные полуденные тени, тянет смолой, мхами, грибной прелью.

В низкой мураве капельками крови рдеет земляника.

Армады облаков плывут над челом холма, похожие на седые кудри, которые разметала по небу рукотворная древняя гора, поныне хранящая неразгаданные тайны.

Не высок холм, да видится с него далеко. Чернецово, Быково, Макарино, Киселево, Бор — все-все деревеньки видать! И Лопатино тоже, откуда пошли колхозы в Городищне,—коммуна дала колхозную поросль. Там над угором горбит кровлю неказистая избенка старухи Лидии Перегудовой, незаслуженно забытой воительницы за новую жизнь — со следами трактора на сузенной дороге, с самолетом над полями.

И стою я на холме Мыгры, и вижу: пустельги чертят не-бо крылом, слепят глаза излуки и заводи Городищны...

А вон автобус выходит из села. Куда повернет за мостом? Направо — пойдет в райцентр, налево — в Брусенец.

Деревенька так себе Брусенец, слава одна, что пристань на Сухоне. Между тем Брусенец некогда являлся городом-

крепостью, защищавшей дальние подступы к Устюгу, к Двинской Земле — легендарному Заволочью.

В ноябре 1608 года в Устюге, когда там воеводой был Пушкин, один из предков великого поэта, получили известие о продвижении шаек польских оккупантов на Север. К Брусенскому городку спешно направилась сторожевая рать, по пути привлекая в свои ряды «охочих людей», сведущих в ратном труде воинов-добровольцев. Городищенская сторона Сухоны, надо думать, дала устюганам пополнение. Как жителям было иметь дело с оружием.

Иван III на Городишине, в будущем избавитель Руси от трехвекового татаро-монгольского ига.

Пушкин, воевода в В. Устюге, не признавшем власти ставленника польской шляхты Лжедмитрия...

Мужичья рать, преградившая у Брусенца дорогу иноzemным захватчикам....

Давняя, отделенная веками старина становится обжитой, наполняясь теплом и живой плотью, когда приобщаешься к ней с увлечением и участием!

Впервые, насколько я мог установить, Городишина упоминалась в летописях в XV веке, в последний раз в солидных трудах в 1791 году, когда по Северу путешествовал Петр Челищев, друг и сподвижник писателя-революционера Н. А. Радищева. 7 октября П. И. Челищев занес в дневник: «...против стоящего на левой стороне, при впадающей в Сухону не малой речке Городишине, погоста Устье-Городищенского, стали на якорь».

Путешественник рассказал детально, как на Сухоне (следовательно, и на Городишине) добиваются высоких урожаев, успехов в животноводстве. «...Крестьяне на новинах или на лядах, — отмечал П. И. Челищев, — пашут и сеют вместе с рожью семена травы палошника... и она трава от одного посева растет лет десять, а на хорошей земле и двадцать. Уверяют крестьяне, что оную траву ест всякий скот лучше другой и лошадям никогда овса не дают. Сия трава придала им охоту держать скота больше против прежнего, что и удалось».

«Палошник», по описанию путешественника, листьями сходен с пыреем, отличался высотой, крепким стеблем. Попала сюда трава с Урала.

Не видно ее нынче на полях. Выродилась? Забыта ли?

Что если б ее поискали юные краеведы и натуралисты?

## ПРОЩАЛЬНЫЙ КОСТЕР

Привычно забредаю в воду на перекате. В босые ноги тычутся гольяны, мелькая черными юркими стрелочками. Раскачив удилище, делаю заброс. Наловчился: кучка червей на крючке падает без плеска, точно в намеченный бурун у камней...

Я обметал все мало-мальски привлекательные с виду буруны и коловерти, черви от ударов об воду, раскисли, побелели, а удача ко мне не торопится.

Обеднела все-таки Городишка. Ежегодный сплав леса весной, плотина в устье, лов сетями, бреднями — одно к одному, и обезрыбели омута и перекаты. Наконец выдры — эти рыбачат не по-нашему, круглый год! Отстрел выдр ограничен, расплодилось их по реке.

Ага, поплавок резко вильнул под воду. Хариусов обычно ловят без поплавка, нахлыстом, часто на обманку — искусственных насекомых, но уженье без «сторожа» что-то не по мне. «Сторож» — поплавок, он стережет, он подает сигнал и переживаешь ты все остро — от волнения робкой поклевкой до радости, когда заплещется рыбина в траве на берегу. Я за «сторожа», хотя это и против правил.

Удилище гнется, пружинит, леса того жди, что оборвется с жалобным звоном.

Так оно и есть — лопнула. Как ножницами перестрижен капрон.

Роюсь по карманам: где жестянка с запасной оснасткой?

Подвязываю новый поводок, глаз не спускаю с переката. Кто же брал? Если хариус, то был близко к килограмму, и такую-то редкость я прозевал! Насмехаются над удильщиками, они, мол, самую-то крупную рыбу упускают, а ведь истина — упускаем.

За гребнем перебора ударила щука. Шлепнула хвостом, и пошло трещинами зеркало омута, черное с тонкой серебряной пленкой, и подхлюпывает волна под листья кувшинок.

Встряхивая крыльышками, снуют с берега на берег перевозчики, пеночки в кустах осыпают росу, и березка в омуте свечой теплится, и взбивают рыхлую пену буруны на перекате...

Камнем угнетает меня мысль: пора расставаться с тобой, река, кончились мои сроки!

Почти равнодушно я выуживаю четырех хариусов.

Раскладываю костер. Пламя бесцветно, дым струистый и пахучий.

Человек — мера вещей. Будь кто-то другой на моем месте, я думаю, он увидел, нашел бы на Городище иное, чем я. Что ж, по крайней мере, то, что я видел, увидит любой...

Накатывает с неба гром: идет высоко четырехмоторный «ИЛ-18».

Что видят в иллюминаторы пассажиры лайнера? Да не больше, чем географическую карту: зелень — леса, черные ниточки — реки, окна голубые — озера. Карта и карта, разве что немая да без сетки параллелей и меридианов. Дело привычное, быт наш: иллюминаторы салона, стюардесса на каблучках с леденцами на подносе. И вместо земли с ее единственным для каждого уголка, неповторимым ароматом и уютом — карта немая под скошенными крыльями лайнера.

И с борта тихоходной «Аннушки» сузенные углы, подобные Городище, разве не сливаются в один, растущеванный зеленою краской лесной край?

Горит на берегу костер — без дыма, с бесцветными языками пламени.

В детстве я, помнится, любил, забравшись на крышу избы, следить, как из-за темной зазубренной гряды леса наплывают облака. Не давало, помню, мне покоя: откуда они берутся? Надоедал взрослым, липучкой липнул к старшим ребятишкам. В конце концов, чтобы отвязаться от меня, кто-то сказал: «А эвон, у Гольцова на деревне облако лежит! Скорей бежи, нето улетит!»

Я сбежал. Не застал — улетело...

Что ж, разве я один ходил по земле, не зная, что на нейто, в недрах суземья елового, в полях под соснами вековыми, былинными, и рождаются облака?

---

## С О Д Е Р Ж А Н И Е

Хозяин огненного бора . . . . .	3
Григорьев перекат . . . . .	26
Кирик и Аленка . . . . .	40
Бабкины утятка . . . . .	62
Где рождаются облака . . . . .	86

---

Иван Дмитриевич Полуянов  
ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ОБЛАКА

Редактор Е. Ф. Богданов

Художник И. П. Архипов

Художественный редактор В. С. Вежливцев

Технический редактор Н. Б. Буйновская

Корректор Н. Г. Галкина

---

ГЕ00134. Сдано в набор 2.12.1967 г. Подписано к печати 9.2.1968 г.  
Формат 60×84<sup>1</sup>/16. Бумажн. л. 4,0. Печатн. л. 8,0. Уч.-издат. 7,3.  
Тираж 30 000. Цена 31 коп. Знаки 6448.

---

Северо-Западное книжное издательство  
Архангельск, пр. П. Виноградова, 76.

Областная типография,  
Вологда, ул. Калинина, 3.